

ПОСЛЕДНИЙ
СОЛДАТ
ИМПЕРИИ



Александр

ПРОХАНОВ

МАТРИЦА ВОЙНЫ



Александр Проханов

Матрица войны

«ЭКСМО»

2007

Проханов А. А.

Матрица войны / А. А. Проханов — «Эксмо», 2007

Кампучийская хроника. Страна только-только начинает оживать после ухода кровавого правителя Пол Пота. Но еще сохраняется риск перерастания локального конфликта в большую бойню, пламя войны еще может перекинуться на соседние государства. Майор внешней разведки Белосельцев отправляется в Кампучию, чтобы предотвратить сползание страны в хаос. Он видит перед собой огромный подлунный мир человеческих мистерий, переживаний, мечтаний, побед и поражений. Кхмеры, вьетнамцы – Белосельцев не видит между ними разницы, его сердце преисполнено состраданием к простым людям, он выступает как воин-миротворец, посланник могущественной державы, призванный сеять лишь доброе и вечное...

© Проханов А. А., 2007

© Эксмо, 2007

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	34
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Александр Проханов

Матрица войны

Глава первая

Праздность – медленная, тягучая продолжительность московского летнего дня с белесым утренним солнцем, зажигающим болезненно-бледное пятно на старых обоях, где висит обломок иконы, обугленной в давнишнем пожаре. Больше шума, колючего сверкания, литого блеска машин. Скопились у светофора, теснятся, давят, мигают зло желтыми боковыми огнями. И словно открыли перед ними запруду – льются, торопятся, трутся боками, глянцевиные, скользко-упругие, как жуки-плавунцы. И в воздухе после них повисает прозрачная фиолетовая гарь, сквозь которую бежит сосредоточенная московская толпа, из подземелья в подземелье, из одних стеклянных дверей в другие, из одного времени года в другое, из века в век. Весь день на огромном перекрестке что-то сталкивается, вспыхивает, плавится, окутывается светящимся газом, блестит, сжигает кислород бледного высокого неба, в котором слепо горит реклама. От этих бесчисленных столкновений, слепящих вспышек, монотонных миганий рекламы возникает ощущение слепоты, огромной выжженной пустоты, в которую превращаются чувства и мысли. После смерти, после стоцветной, ярко прожитой жизни останется выгоревшее пятно бесцветного небытия. Вечер похож на окалину, медленно остывающую на красных от вечернего солнца домах. По этим красным асфальтам, из красных в красные двери, из красных в красные автобусы бежит толпа, множество мелькающих, красных, как у косцов, лиц, на которых не разглядеть выражения, а только особое московское утомление после душного дня, улетающего, как видение туманных мостов, церквей, небоскребов. Вечер, смуглый, бриллиантовый, непрерывное скольжение нарядных автомобилей, брызгающих на фиолетовый асфальт прозрачными пучками огней, словно несут перед собой стеклянные кувшины света. Тверская в золотых витринах, в голубых планетах и лунах реклам, в драгоценных гирляндах, опутывающих ветви деревьев. Женщины похожи на птиц в райском саду. Возле них останавливаются лимузины. Птицы, колыхая разноцветными перьями, бегут на манки ловцов, впархивают в дверцы машин, и их увозят, легкомысленных и счастливых. Долго за полночь шелестит и мягко рокошет город, брызжет огромное ночное солнце казино, плещет многоцветным водяным букетом фонтан, и где-то в нагретых гранитных теснинах, невидимый, сладкозвучный, играет саксофон, словно течет медленная и горячая струя смолы. Праздник день завершен, сквозь шторы бесшумная, в два цвета, мигает реклама, посылая в мироздание беззвучный, безответный сигнал тревоги. И странная мысль: «Это я... Живой... После долгой прожитой жизни прожил еще один, необъяснимый, наполненный тончайшей болью день...»

Отставной генерал разведки Виктор Андреевич Белосельцев не находил в себе сил оставить душную Москву и уехать на дачу, где ждал его заросший, запущенный сад, тихие труды в цветнике среди серьезных оранжево-черных шмелей, сладких табаков и засахаренных бутонов роз, когда на жестяном совке чернеет сочный ком и в нем извивается скользкий розовый червь. Он не мог уехать, пораженный необъяснимым бессилием, нежеланием менять свое положение в пространстве, будто ждал, что сверху, из горячего неба, прольется на него прозрачная струя канифоли и он застынет в ней на веки вечные, раскинув свои высохшие руки, склонив к плечу седую голову. Это ожидание напоминало паралич, отнимавший способность двигаться, шевелить пальцами, вращать глазами, сжимать и расширять легкие. Жизнь была неинтересна, состояла из мельчайшей пудры, в которую превратились его жизненные впечатления, усвоенные науки, прочитанные книги, человеческие отношения и дружбы, сама страна, которой он, профессиональный разведчик, служил до последних минут ее существования, пока она, огром-

ная, как красный леденец, не растаяла, не потекла липким соком, сжатая чьим-то огромным, потным, омерзительным кулаком.

Иногда, чтобы разнообразить безделье, развеять сонную одурь, он включал телевизор. Но оттуда, из голубоватого студня, из дрожащего желе, как из заливного, начинали выпрыгивать уродливые рыбины, губастые и носастые чудища, пучеглазые щетинистые твари. Морочили, пугали, тянули клешни, тыкали в глаза обрубками конечностей, норовили схватить волосатой лапой или пнуть мозолистой голой стопой. Белосельцев, послушав и посмотрев минуту, выключал телевизор, загонял обратно в пластмассовый застекленный короб несметное сонмище, которое из ящика через огромную шахту скатывалось обратно в преисподнюю, в жилище тьмы.

Среди мелочных бессмысленных дел: приготовления пищи, стирания белья, принятия пилюль, подметания комнаты – было одно занятие, к которому он прибегал, спасаясь от изнурительного пустоцветного бытия, где любое событие, любой звук или знак являли собой глупую мелочь, бессмыслицу, оскорбительную незначительность, за которую не цеплялся ум, которую отторгала душа.

Три стены в его длинном, как пенал, кабинете занимала коллекция бабочек. Стекланные кристаллы, в которые, как в бруски драгоценного льда, были заморожены разноцветные дива, вычерпанные легким сачком из воздушных потоков Африки, океанских ветров Америки, лесных дуновений Азии. Привезенные в Москву с театров военных действий, среди московских снегов, ночных черных наледей они повествовали о иной земле, молодой, сотворенной Богом планете, которую Господь облек в наряд из цветов и бабочек. Это позже сквозь нарядное облачение стали взлетать ракеты, пикировали самолеты, протыкали драгоценный наряд небоскребы и башни. В Никарагуа он толкал с сандинистами залипшее в грязь орудие, провлакивал его по скользкой дороге, на которой сидели мириады розовых бабочек. В Атлантике на их боевой корабль, доставлявший в Анголу морскую пехоту, сели белые бабочки, и вся палуба, бортовые орудия, глубинные бомбометы, штыри и чаши антенн были покрыты белыми хлопьями, словно корабль, приближаясь к экватору, заиндевел, укутался шубой голубоватого инея.

Теперь, когда его окружала бессмысленная, ненужная жизнь, мучила каждым звуком, каждой злой и никчемной мелочью, когда он сам, отравленный тончайшим ядом, изводил себя изнурительной мыслью о никчемной судьбе, в которой все его победы и подвиги, блистательные чины и награды кончились общим поражением, испепелившим смысл бытия, – теперь он спасался созерцанием бабочек.

Он ложился на диван, подкладывая под голову любимую пакистанскую подушку, шитую серебром, как ложатся курильщики опиума. Обращался лицом к стене, на которой висели бабочки. Медленно, ровно дышал, устремляя глаза на недвижимое разноцветье. Не мигал, оставивая дрожание зрачков, охватывая ими один из фрагментов коробки, в которой рядами, насаженные на синеватую сталь булавок, застыли бабочки. Постепенно в его воспаленный, измученный мозг начинали просачиваться разноцветные струйки дыма, пьянящие сладкие капли, дурманящие цветные туманы. Заволакивали его разум восхитительной дымкой, в которой не было мыслей, очертаний предметов, а один размытый цветной туман с завитками голубого и алого, с проблеском белизны и лазури.

Его утомленная плоть оставалась на диване, а нечто – быть может, душа или бесплотная сущность разума – отделялось от брэнного вместилища, утончалось, свивалось в разноцветную нить, которая проникала сквозь тонкий зазор, проскальзывала сквозь угольное ушко и оказывалась по другую сторону бытия, в восхитительном пространстве, где не было предметного мира, а одни спектральные вспышки, летящие лучи, многоцветные нимбы. Это пространство струилось, видоизменялось, принимало его в себя, он переливался из алого в изумрудно-зеленое, из серебряного и лучистого в стеклянно-лиловое. Его душа путешествовала среди чистых энергий, среди волнистого света, из которого брызгали светонесные пучки, исходили сияния.

Эти зори, малиновые и желтые восходы и закаты, жемчужно-лунные тени, бело-красные сполохи вызвали ощущение счастья. Не было времени, не было материального мира, а одни волнистые переливы цветов. Возможно, это и был рай, а счастье, которое он испытывал, было райским счастьем, которое уготовано ему после смерти, сразу же после того, как останутся и остекленеют зрачки, повернутся в глубь многоцветной бездны.

Он лежал на диване в наркотических галлюцинациях света, и бабочки, как балерины, кружились, насаженные на отточенную голубую ось, маршировали, как бесчисленное войско, проходящее парадом через его кабинет.

Коробка, которую он созерцал, была собрана в Кампучии. Он знал в ней каждую бабочку, связывая с ней тот или иной эпизод своей опасной кампучийской поездки. Золотые будды, волнистые пагоды, синие туманные джунгли, колонны военной техники, горящий шар вертолета. Он помнил просеки, по которым бежал, размахивая белым сачком. Помнил блестящие горячие лужи после короткого ливня, на которые из леса слетались бабочки. Помнил поляну, где в сачок залетела огромная черно-золотая бабочка, шевелила кисею сильными, упругими крыльями. В коробке не было бабочки, перламутрово-лиловой, с таинственными ночными переливами, той, которую поймал в прозрачном лесу, а потом отпустил. Вдруг померещилось, что в бабочку вселилась душа женщины, которую потерял. Теперь он смотрел на кампучийских бабочек, стараясь вспомнить ту, которой здесь не было, чье место оставалось пустым. «Алтарь неизвестному богу», – думал он, всматриваясь в переливы коробки.

Надо было действовать, жить. Надо было спуститься за хлебом, купить себе чай и сахар. Раздражаясь на себя за эту сохраненную потребность есть и пить, за необходимость питать свое праздное, бездельное тело, он собрался и вышел из дома.

Был жаркий московский полдень. Тверская казалась раскаленным черным противнем, на котором, как рыбы, подскакивали и бились машины. Зажаренные, в глянцевиной коросте, будут лежать рядами, как караси, с выпученными фарами, обугленными губами радиаторов. Пушкин стоял над площадью, словно политый маслом. Фонтан тяжело выталкивал мутно-стеклянные глыбы воды, без брызг и без блеска, сваливал их в гранитное корыто. Цветы на клумбах, жирные, красные, напоминали разделанное мясо.

Белосельцев, сторонясь всего этого, словно боясь испачкаться и обжечься, прошел к магазинчикам, построенным вдоль тротуара, чтобы поскорее кинуть в целлофановый пакет пачку чая, батон, упаковку молока и снова вернуться домой, укрыться под костяной черепаший панцирь.

Торговец-азербайджанец, с вишневыми глазами, коричневой лысиной и золотыми зубами, на несколько секунд развлек его. Белосельцев поместил его в деревянную раму на холст, где тот был нарисован художником-примитивистом жирными цветными мазками среди бутылок и банок пива, флаконов с вином и водкой, сочных ломтей красной и белой рыбы, розовых, пересыпанных льдом креветок. Торговец смотрел на мир лиловыми солнечными глазами, окруженный той частью Вселенной, за которую люди, прежде чем ею овладеть, платили деньги. Белосельцев именно так и поступил – кинул снедь в пакет, дождался, когда электронный автомат выбросит на прилавок чек, отсчитал деньги.

Он хотел покинуть стеклянный теремок магазина, когда в двери, мешая ему пройти, втиснулись два парня и девушка. Парни – длинноволосые, потные, с мокрыми, улыбающимися губами и размытым слюнявым выражением возбужденных, громко говорящих ртов. Девушка – с русалочьими распущенными волосами, перламутровая от помады, в коротком платье, столь легком и вольном, что под ним уже не было ничего, кроме влажного тела, мелькнувшего сквозь прозрачную ткань. Все трое смеялись, парни старались по очереди обнять свою спутницу, коснуться ее голого локтя, плеча и шеи. Они были пьяны, устремились к прилавку, на котором, как нарядные боеприпасы, теснились банки и бутылки с наклейками.

– Командир, три джина с тоником!.. И не надо сдачи!.. – громко, по-дурацки захохотал парень, высыпая деньги, как загулявший ковбой.

– Мальчики, а лед будет? – жеманно и противно сказала девица.

Продавец благосклонно оглядел ее вишневыми веселыми глазами, всю насквозь, до влажных подмышек и выпуклых молодых бедер. Ловко, короткими волосатыми руками, поставил на прилавок цилиндрическую банку с кольцом, напоминавшую пехотную гранату с чекой. Следом еще две. Оскалился золотыми зубами, словно во рту у него загорелась лампочка.

Белосельцев испытал мимолетную гадливость – деньги, похоть, перламутровое пятно помады, как радужная пленка гниения. Распад поразил эти жизни сразу же, как только они появились на свет. Все были заражены одной болезнью, которой наградили друг друга, которую передадут следующим за ними поколениям.

Он протиснулся между ними и вышел наружу. Пошел не домой, а на близкий бульвар, в его тусклую горячую тень, свалевшийся тополиный пух, белесую, с редкими прохожими аллею. Устало опустился на лавку, чувствуя изнеможение, словно совершил дневной армейский марш с оружием и полной выкладкой. Пакет с батоном и чаем лежал на скамье. Худая, с острым локтем рука бессильно покоилась на крашенных рейках.

Он смотрел на Тверской бульвар, на знакомые, как часть его кабинета, ампирные особняки, на их желтые и зеленые фасады, чугунные решетки балконов, на корявые стволы деревьев и литые тумбы фонарей, на слепящее скольжение машин и торопливый проход москвичей, с особой московской походкой, выражением лиц, манерой носить одежду, мужские портфели или дамские сумочки.

Бульвар был обыденно знакомый, родной, продолжение его дома, рабочего стола, примелькавшего обломка иконы, книжной полки с запыленными корешками.

Он вдруг вспомнил, как в детстве бабушка вела его по бульвару в промозглый февральский день. Было холодно, блестела под ногами солнечно-черная наледь, в голых деревьях ярко синело небо, и он не поспевал за бабушкой, торопливо вдыхал сквозь колючий шарф острый, обжигающий воздух. И еще один миг, через много лет, когда уезжал в Анголу. Вышел на вечерний бульвар, полный неясных предчувствий, и мысль его – быть может, в последний раз он видит этот желтый особняк, и чугунную ограду бульвара, и зеленую скамейку, на которой сидит молодая женщина, курит, смотрит на него долгим, невидящим взглядом.

На этом бульваре он бывал бессчетное количество раз, помнил его в снегу, с драгоценно сверкающей елкой, в зелени свежей изумрудной листвы под холодным шумящим ливнем, желтым и пряным, с кучами осенней листвы, из которых сочился сладкий сизый дымок. И ни разу на этом бульваре с ним ничего не случилось – ни встречи, ни события, ни яркого происшествия. Бульвар был коридором, ведущим в комнаты, где проходили события и встречи.

Белосельцев смотрел отрешенно на желтый особняк с полукруглым ампирным окном. В остекленелом, как крыло стрекозы, пространстве замерло еще одно мгновение его исчезающей жизни.

На бульвар вышли трое – уже знакомые парни и девица с распущенными по спине волосами. Все трое, обнявшись, держали жестяные банки с джином, качались, нестройно ступая, громко разговаривая, хохоча. Девица пыталась на ходу танцевать, что-то запевала. Кавалеры хватили ее за шею, оглаживали ее волосы вдоль спины и ниже, шлепали по ягодицам. Запрокидывали лица и лили в открытые рты содержимое банок. Они обогнули лавку, где сидел Белосельцев, плюхнулись напротив, и одна опорожненная банка покатила, гремя, по аллее.

Белосельцев раздраженно, желчно смотрел на них. Они разрушили хрупкую, стеклянную перепонку стрекозино крыла. Их избыточная дурная энергия наполнила блеклый бульвар, растолкала жидкую белесую тень, серый пух. Они принесли с собой болезнь. Перламутровая струйка гниения лилась от них по газону, мимо ствола старой липы, чугунного литья решетки. Белосельцев собирался уйти, нащупывал на лавке целлофановый пакет.

Один из парней плотно обхватил девушку, сжал ей шею и поцеловал, хватая ее фиолетовые губы, запрокидывая ее голову и тяжелые волосы на спинку скамьи. Другой полез ей за вырез платья, погружая свою пятерню в горячую глубину. Девушка отбивалась, мычала закрытым, стиснутым ртом, дергала голыми ногами. Вырвалась, жалобно закричав, расталкивая ухажеров руками. И первый, распаленный, рассерженный, ударил ее наотмашь в лицо, оглушил, а второй, пытаясь обнять, рванул ей платье, легкая ткань распалась, и под ней сверкнуло голое тело.

– Помогите! – кричала девушка, а двое хватили ее за руки, валили на лавку, задирали ей на голову платье.

Белосельцев испытал страх, гадливость, желание поскорее уйти, не видеть омерзительной, посреди бела дня, сцены, осквернявшей бульвар, ампирный особняк, морщинистые, старые липы, под которыми два века прогуливались почтенные горожане, а теперь шлепнулся комок живой слизи – размазанная вокруг женских губ, раскисшая от слюны помада, разодранное платье, пьяные похотливые лица парней, мучающих свою жертву.

– Помогите! – кричала девушка, путаясь в своих русалочьих волосах, отбиваясь от сильных, жадных, ощупывающих ее рук. Мимо, шарахаясь, торопливо прошел какой-то мужчина, неся аккуратный деловой саквояж.

– Эй вы, оставьте ее!.. – крикнул Белосельцев, поднимаясь со скамейки. Но голос его был слаб, тонул среди визгов и хохота. – Оставьте!.. Ступайте отсюда!.. – Он переходил аллею, приближаясь к верещащему клубку, стараясь придать голосу властную крепость и силу.

Теперь он был услышан. Один из парней изумленно посмотрел на него, словно разглядывал сквозь горячий потный туман. Сердито, без особой злобы, сказал:

– Отец, давай проходи!.. Левое плечо кругом!.. А то башку оторву!..

– Помогите, умоляю!.. – взывала к нему девушка, и он увидел близко ее поднятые брови, дрожащие, полные слез глаза, разорванное платье, сквозь которое виднелась округлая грудь.

– Оставьте девушку и идите отсюда!.. – повторил Белосельцев, понимая, что этим окриком ввергает себя в неизбежную, опасную, сулившую ему поражение схватку, и надо поскорее уйти, и оставить здесь, на скамейке, ком слизи, и об этом забыть, спрятаться в свое неприступное, не подверженное распаду жилище, где коробка с кампучийскими бабочками, и среди них незримо присутствует темно-лиловая, словно тропическая ночь, с незабытым именем «Мария Луиза».

Второй парень поднялся с лавки и молча пошел на него. Глаза его были в красных ободках ненависти. Тупо, прямо, выбрасывая вперед сильную, перевитую мышцами руку, направляя ему в лицо стиснутый грязный кулак, он хотел смести его, разбить ему череп прямым попаданием, вогнать в седую голову оглушающий, разящий удар. Белосельцев отстранился, пропустил кулак вдоль скулы, больно, костяшками, саданувший кожу, и коротким кривым ударом, посылая вдогон кулаку и локтю не утратившее силу плечо, свалил противника на усыпанную кирпичной крошкой тропинку. Не оглушил, а лишь ошеломил неожиданным отпором.

Первый, с веселым, бурлящим матом, кинулся на него, выставил вперед две красные, обгорелые на солнце кисти, растопыренными пальцами целил в горло, чтобы сжать, стиснуть, ломануть сухой кадык, придушить назойливого, не ко времени возникшего старикана. Перехватывая запястья, подкидывая их вверх незабытым приемом, Белосельцев крутанул противника, желая его свалить, но не хватило массы и резкости. Парень не упал, а лишь ударил коленом землю, снизу вверх изумленно и весело поглядывая на соперника.

Второй, хлопая жарко, невидимый, сзади нанес ему в затылок толчок, под свод черепной коробки, от чего помутилось в глазах, и секунду все текло в расплавленном воздухе. Скамейка с кричащей девушкой, чей крик прорывался сквозь густые спутанные волосы. Белый ампирный особняк с черным чугунным балконом. Припавший на одно колено парень, глядящий ему за спину, туда, где второй, невидимый, готовил завершающий разящий удар.

Белосельцев, не волей, а последним инстинктом жизни, собрал из распавшихся, разлетающихся корпускул единственную отпущенную для жизни секунду. Качнулся в сторону, пропуская мимо, из-за спины, горячий ком мускулов, хрипа и ненависти. Рука нащупала в кармане газовый пистолет, точную копию семизарядного портативного маузера. Кулак вытянул вперед вороненое тельце оружия. Передернул затвор, прицеливаясь попеременно в два близких, похожих лица, покрытых скользкой пленкой жира, – в их дышащие розоватые ноздри, выпуклые, в алых прожилках, белки, в свистящие, приоткрытые зубы. Был готов вогнать тонкий, как шприц, аэрозоль в ошпаренные глаза и губы. Но парни, отрезвев, пятились, руками ощупывали за собой пространство, отступали, удалялись. Повернулись и побежали по аллее, мимо особняков, песочниц, двухсотлетнего дуба, к далекому круглому зеркальцу света, где, похожий на ружейную мушку, стоял памятник Тимирязеву. Белосельцев чувствовал слабость. Стоял, опустив пистолет, с гудящей головой, в которой разливалась боль от полученного удара, от затылка ко лбу, сквозь глазные яблоки. На скамейке сидела пьяная девица, всхлипывала, отбрасывала с лица повлажневшие от страха волосы, прижимала на боку клочок разодранного платья. Он хотел уйти, добраться до дома и лечь. Пережить эту боль от удара, отвращение и брезгливость. Он повернулся, направляясь к скамье, где лежал пакет с купленной снедью.

– Не уходите!.. – сказала девушка. – Они вернуться!.. Они меня избыют, изнасилуют!.. Умоляю, не уходите!

В ней было нечто жалобное и убогое – в ее размалеванной помаде, в растрепанных волосах, в синеватых, текущих с ресниц слезах. Нечто отталкивающее и одновременно беззащитно-детское, беспомощное. Так в саду, проходя мимо полной бочки, он видел попавшего в воду жука, его шевелящиеся лапки, яркое глянцевитое тельце, от которого расходились крохотные волны. И всегда, повинувшись странному состраданию, он вычерпывал жука, кидал его вместе с брызгами в тенистые лопухи.

– Не уходите! – плакала девушка.

– Возьмите!.. – Он протянул ей платок. – Идемте к фонтану... Там ополоснете лицо...

У фонтана он наклонил ее голову к воде. Слыша, как глухо булькает тяжелый бурун, видя, как блестят и двоятся на дне фонтана монетки, он черпал пригоршней воду, омывал ей лицо. Она фыркала, всхлипывала, волосы ее упали через гранитный край фонтана и намокли. И в том, как он ее мыл и как она терпела это омовение, было нечто трогательное и смешное. Так моют чумазых, извозившихся детей, чтобы чистыми и умытыми уложить в постель.

Он отобрал у нее платок, отер ей глаза, розовые, очищенные от помады губы, тонкие, под белым лбом брови. Не удержался, схватил ее маленький нос, сжал, заставляя высморкаться. Ополоснул платок и сунул в карман. С соседних скамеек на них смотрели. Пожилая женщина в соломенной шляпе показывала на них пальцем, что-то возмущенно говорила серьезному, внимательному соседу.

– Ступайте в метро, – сказал он. – Их уже нет... Вы в безопасности... – Он указал ей на вход в метро, куда, как ртуть, скатывалась горячая московская толпа. Хотел оставить ее, вернуться к себе, в свой огромный каменный дом, таивший в толстых стенах и гранитных плитах неизрасходованную прохладу.

Он увидел, как затряслись ее плечи, как по белой молодой шее прокатилась конвульсия и глаза стали круглые, как у птицы, без зрачков, в слезном солнечном блеске.

– Не хочу!.. Мне страшно!.. Выслеживают!.. Убьют меня!.. Обещали!.. Сказали, что меня продадут!.. Чеченцам!.. Посадят в яму!.. Сделают укол и похитят!.. Вырежут сердце и печень!.. Продадут за границу!.. Не оставляйте меня, умоляю!..

Все это она шептала страстно, жарко, хватала его за руки, не пускала. Эта была истерика. Он снова подумал, что должен уйти, немедленно, пока еще оставалась минута и эта истерика не перейдет в долгий истошный крик. Она забьется на земле у фонтана, и все сидящие на лавках

вскочат, как один, и пожилая дама в шляпе станет размахивать перед его лицом своей толстой, в красной экземе, рукой.

Он сделал шаг в сторону, но она повисла на его локте, и, глядя в ее беззвучно кричащий рот, в птички, округлившиеся глаза, он сказал:

– Поднимемся ко мне... Приведете себя в порядок... Потом я вас провожу... – Чувствуя, как бесшумная сила, проявившаяся вдруг над толпой, над скользящими машинами, над кубической рекламой с часами, похожая на толчок горячего ветра, повлекла его к огромной каменной арке, в которую протискивались автомобили и пешеходы, он взял ее под руку. Через минуту они поднимались в тесном лифте, он старался на нее не смотреть, повторял машинально: «Алтарь неизвестному богу...»

Он впустил ее в дом, в тесную сумрачную прихожую. Раздражение не оставляло его. Его уклад, его жилище, склеенное из кусочков старого, отслужившего свой век вещества, как ласточкино гнездо из комочков глины, были потревожены. Он сам запустил в дом это чужое, беспокоящее и ненужное существо. Девушка стояла в прихожей, всхлипывала. Белосельцев прошел на кухню, достал из шкафчика пузырек валерьянки. Близоруко щурясь, отмерил в стакан падающие светлые капли. Долил из графина воды.

– Что это? – спросила девушка.

– Чтобы руки не дрожали... Чтобы наемные убийцы не мерещились, – ворчливо и недовольно произнес Белосельцев.

Она послушно приняла стакан, пила, слегка захлебываясь, по-детски морщила нос. И он раскаялся за свой недобрый, ворчливый тон.

– Ступайте в ванную... Контрастный душ... Успокоит нервы... Там мохнатое полотенце...

Она послушно пошла в ванную. Он слышал, как зашуршала, зашелестела вода. Накапал в тот же стакан валерьянки и выпил. Затылок ломило, на скуле горела ссадина. В ванной ровно рокотала вода. В его доме появилось живое существо, мешавшее ему быть свободным в совершении множества мелочей и причуд, о которых знал только он, к которым привык за долгие годы одинокой жизни. Это существо не воспринималось им как личность, а скорее как забежавшая на дачный участок молодая собака, доверчивая, глупая, гонимая, которая по неведению мяла цветы, давила грядки, не понимая, чем вызывает раздражение и окрик хозяина. Сравнение с собакой показалось ему забавным. Он прошел в кабинет, стал смотреть на бабочек, вспоминая, как утром рассматривал кампучийскую коробку с несуществующей, отпущенной им на свободу темно-фиолетовой бабочкой, и это она, несуществующая, ввергла его в приключение, в дурацкую стычку на бульваре, в это нелепое сидение в кабинете, вслушивание в водяные шелесты и звуки.

Вода перестала идти. Несколько минут было тихо. На пороге кабинета появилась она, босая, укутанная в его махровый халат. Волосы ее были мокрые, темные, схвачены сзади непрочным узлом. Глаза были странно прозрачны на солнце, водянисто-голубого, стеклянного цвета, пропускали лучи в глубину, где темнели, вздрагивали, боялись и о чем-то просили. За босыми стопами из коридора тянулись влажные маленькие следы, и вид этих влажных отпечатков тронул его больно и нежно, о чем-то мимолетно напомнил, и это воспоминание также касалось кампучийской коробки.

– Я без спроса надела ваш халат... Платье порвано... Можно, я немного полежу?.. Кружится голова... Приду в себя и пойду...

Он отвел ее в гостиную, где стояли шкаф, обеденный стол, книжные полки и просторное жесткое ложе, накрытое черно-алым иранским покрывалом. Сам он спал в кабинете, и ложе пустовало, годами ожидало несуществующих заезжих гостей.

– Вот здесь, если хотите... – Он ткнул на ложе. Достал из шкафа разноцветную простыню. Задержал гардину, отчего воздух в комнате стал золотой и черные африканские маски на сте-

нах приобрели чернильно-фиолетовый, металлический оттенок. Вышел из гостиной, затворив дверь, с изумлением понимая, что эта нелепая история не кончается, возвращает в себе все новые и новые обстоятельства. Как черенок, пускается в рост. И его надо обрезать и осторожно унести с гряды, иначе в его саду, среди фиалок и роз, может вырасти огромный колючий чертополох, о который он больно уколется.

Он походил по дому, с удивлением замечая, что одна его главная половина, просторная гостиная, теперь для него недоступна. Смотрел на закрытую дверь, за которой что-то таилось, неожиданное, вытеснившее его, беззащитное и одновременно властное и настойчивое.

Он вошел в ванную. Эмалированный овальный объем был пуст, но на стенках еще держались капли. Хромированный душ был влажен, и он представил, как под блестящей, брызгающей насадкой стоит она, закрывает глаза, фыркает розовыми губами и струйки воды разбиваются о ее плечи, текут по груди и ногам. Эта картина не была греховной, но больно, сладко напомнила о давнишнем видении, связанном с другой женщиной, другой водой, другой восхитительной наготой, которые необъяснимо, через много лет, напомнили о себе в этой влажной ванной, где на кафельном полу стояли маленькие босоножки, а на фарфоровом крюке было небрежно повешено разорванное цветастое платье.

Он хотел выйти, но медлил. Снял платье и, держа его на весу, словно боясь неосторожно прижать к себе, вынес цветастый наряд в кабинет. Посмотрел сквозь него на солнце. Платье прозрачно светилось цветами и листьями, в нем еще сквозила теплая живая телесность. Ткань была порвана не по шву, клочок бесформенно свисал, и он, положив на диван платье, вставил на место оторванный лоскут. Бережно провел рукой по материи. Удивился – в кабинете, среди истрепанных книг, незавершенных записок, запыленных фетишей его военных походов лежало девичье платье, и он бережно, робко разглаживал лучистые цветы и узоры.

Встал, достал из ящика стола катушку черных ниток с торчащей иглой. Нацепив очки, долго вдевал нитку в угольное ушко. Неловкими пальцами завязывал узелок. Сел на диван, положив на колени платье, и, придерживая вырванный лоскут, зацепил его тонкой блестящей сталью. Вытягивал нитку долго и осторожно, видя, как трепещет цветастый шелк.

Посмотрел на себя со стороны – пожилой седоголовый мужчина сидит на диване, нацепив очки, и вонзает иголку в женское платье. Это зрелище смутило, изумило его. Игла с нитью в его неумелых пальцах пришивает не зеленую пуговицу к военной тужурке, не кожаную лямку к походному вещевому мешку, а легко, не встречая сопротивления, пронизывает прозрачную ткань женского одеяния, и очки сосредоточенно блестят на сухом носу. Но изумление тут же сменилось умилением – он, отец, оберегая сон нашалившего, утомленного ребенка, чинит его поврежденную одежду, отмывает его испачканную обувь, испытывая при этом не гнев, не раздражение, а нежность, благодарность за эту нежность.

Цветной лоскуток трепетал у него под руками, пронизываемый тончайшим металлическим лучом, и это напоминало колдовство над расправилкой, когда бабочка, пронзенная острием, раздвигает драгоценные крылья, и он легчайшим уколом булаки пришивает к липовым розоватым дощечкам хрупкие перепонки, на которых – прожилки металла, капли бирюзы, алая лента орнамента. Это сходство заставило его взглянуть на кампучийскую коробку, где среди золотых и черных нимфалид и сатиров отсутствовал лилово-золотистый лоскут, тот, что трепетал теперь у него на коленях.

Чувство благодарности к ней, спящей в соседней комнате, не покидало его. Она, беззащитная, доверилась ему, попросила о помощи, и он добровольно ей служит, безропотно принял это сладкое иго. Стелит ей постель, отдал ей свой халат, чинит ее наряд, смывает грязь с ее босоножек.

Он вдруг испытал волнение, испугавшее его. Он держал в руках платье, только что облекавшее ее молодое горячее тело, скользившее по ее плечам и груди, трепетавшее у ее выпуклых круглых колен.

Приблизил лицо к прозрачным цветам и узорам, улавливая легчайший, исходящий от них запах солнца, теплой пыли и едва уловимое дуновение духов. Молодая женственность коснулась его, сладко опьянила, и он погладил платье от выреза на груди до сборок на поясе, наклонился и поцеловал его.

Устыдился греховности своих побуждений. Оглянулся, не видит ли кто. Бородатый Никола в кольцах седины, воздев персты, строго смотрел на него с обугленного обломка иконы, свидетель его греха, судья его тайных побуждений. Чувство совершенного греха лишь спугнуло его нежность, и она, превратившись в тихую сладкую боль, ушла в глубину, под сердце, и там жила, как мягкий птенец в гнезде.

Он работал иглой, обшивая лоскут, приторачивая его аккуратными маленькими стежками, при этом что-то бессловесно приговаривал, о чем-то невнятно думал, и его бормотания и помышления были о ней, спящей в гостиной. Это напоминало волхвование, ворожбу. Нитка и иголка были в его руках древним инструментом колдовства, а сам он, как престарелый колдун в своем потаенном убежище, привораживал спящую деву, вонзая иголку в ее одеяние.

Он заштопал платье, разгладилвшитый лоскут, влаживая, встраивая купу цветов и листьев в луговое разнотравье шелка. Приподнял платье. Солнце пролетело сквозь ткань, бросив на стену размытое красно-золотое пятно. Он вынес платье и вывесил его на распялке перед дверью, за которой она спала. Тут же поставил вымытые босоножки.

Вернулся в кабинет, слабо улыбаясь, недоумеая тому, что произошло в нем и вокруг. За окном пульсировал, блестел перекресток, словно площадь поочередно полосовали два ярких острых ножа. Висело в сумерках коридора девичье платье, а его хозяйка спала в гостиной на жестком одре. Под сердцем, как в мягком темном дупле, дышал и шевелился птенец. И он сам, как старое дерево, чувствовал в себе это дупло и поселившегося в нем птенца, боялся его потревожить.

Он вдруг почувствовал страшную усталость. Ломило в затылке. Горела ссадина на скуле. Болел уколотый палец. Совершившиеся в нем и вокруг изменения потребовали от него огромных затрат и лишили сил. Он занавесил окна и лег на диван. Под веками было пестро и радостно, словно он долго смотрел на солнечный луг. Он заснул и сквозь сон слышал какие-то негромкие звуки, шаги, слабое звяканье дверного замка. Не было сил проснуться. А когда проснулся, гости не было. В ванной висел мохнатый халат. Аккуратно сложенная, лежала на одре простыня. И не было на распялке платья, не было маленьких босоножек. Он не огорчился. Не искал случившемуся продолжения. Дупло в старом дереве пустовало, хранило тепло птенца.

Белосельцев, не отдергивая штор, в красноватом вечернем солнце, сидел на диване. Смотрел на коллекцию бабочек, пойманных на континентах земли, среди мировых конфликтов. И среди тысяч расправленных, драгоценных недоставало одной, выпущенной им на свободу.

«Алтарь неизвестному богу», – в который раз произносил он слова. Вспоминал странствие, в которое его направляла разведка. Пускался в новое, в которое его посылала судьба.

Глава вторая

Майор внешней разведки Белосельцев стоял на балконе обшарпанного, неухоженного отеля, единственного в Пномпене, пригодного для расселения иностранцев. Вдыхал влажный, как ингаляция, воздух, в котором вместе с горячим паром содержалась мельчайшая, обжигающая горло пыльца, принесенная ветром с побережья Меконга. Смотрел на разрушенное, похожее на Колизей здание торгового центра, на комариное мелькание легких велосипедистов. Казалось странным его появление здесь, в раскаленном тропическом воздухе, в разгромленном, медленно оживавшем городе, где он оказался не по приказу начальства, нагрузившего его очередным заданием разведчика, а по чьей-то таинственной неолицетворенной воле, втолкнувшей его в эту жизнь, как живую корпускулу, обремененную полученным свыше заданием – видеть, мыслить и чувствовать, внедряться в народы и страны, чтобы потом, обретя неполный, в муках добытый опыт, исчезнуть. Исчезая, передать этот опыт в чьи-то бережные, терпеливые руки, сотворившие его для краткого пребывания в мире.

Как крохотный реактивный снаряд, с собственной программой и целью, с просветленной длиннофокусной оптикой, с запоминающим устройством, он был запущен в автономный полет. Его траектория – от подмосковных весенних разливов, прозрачных, в стеклянной синеве березняков, от кристаллического аэропорта Шереметьево, где выпить последнюю, прощальную, чашечку кофе, золотистую рюмку коньяка и, усевшись в самолетное кресло, задремать на взлете, погружаясь в клубящиеся сновидения, порожденные звоном турбины, алюминиевым дребезжанием обшивки, случайным прикосновением прошедшей в темноте стюардессы. Над землей, под туманными звездами сонный разум сливается с бестелесными образами, витающими в небесах, клубящимися за хвостом самолета.словно ноосфера обступает его своими видениями, мыслями исчезнувших поколений. В своей чуткой дремоте он пьет таинственный, сладкий настой, пьянея от невнятных картин и звучаний, созданных до него иными неизвестными странниками, чьи кости лежат в глубоких истлевших могилах, а мысли и разноцветные образы нетленно витают под звездами.

Пробуждение в Ташкенте, утренний сочный свет, цветущие сады под крылом. Машина на мгновение касается стальной полосы, чтобы снова взмыть и повиснуть в розовом недвижимом пространстве, где медленно, в накаленной глубине, текут бестравые горы, туманные горячие осыпи, рыжие потоки камней. Афганистан, красный, как Марс, с кратерами древних упавших метеоров, с трещинами иссохших каналов. Острый тоскующий взгляд ищет с высоты слабую вспышку взрыва, малую пулеметную искру. Там, в афганских горах, он сам идет, отекая горячим потом, навьючив боекомплект и продукты, и нога в запыленном ботинке ступает на камень, где лежит белый скелет мертвой птицы. И пока они висят над красноватой мглистой землей, кажется, что самолет летит сквозь ржавчину сгоревшей брони, окалину разорванных машин, прах истребленных кишлаков и к стеклу иллюминатора прилипают зеленые частицы расколотых изразцовых мечетей, бледный пепел опаленных садов.

Остановка в Карачи, пассажиров держат в салоне. Вокруг самолета ходит наряд автоматчиков. Подкатывает под крыло сияющая, из нержавеющей стали цистерна. Пакистанец-заправщик с черным маслянистым лицом, словно умытый нефтью, давит рычаги и кнопки, смотрит на манометры. Вокруг туманное серебристое пространство порта, рыба, переполненное икрой брюхо DC-10, синяя надпись «Панамерикен». И острое любопытство, влечение к автоматчикам с М-16, к их расовому типу, к антропологии их смуглых лиц, горбатых носов, фиолетовых губ. Он – в недрах другого континента, другой культуры, и если невидимо сойти с самолета, просочиться, как тень, сквозь охрану, шагнуть на горячую, омытую ливнем траву, то окажешься среди иного народа, его мистической музыки, таинственной красоты, витающей над горячими рынками, белыми минаретами, ленивыми потоками огромных медлительных рек.

Полет над Гималаями – голубое, алое, белое. В ледниках загораются огромные разноцветные фонари. Глаз не может утолить чудную жажду, созерцая густую лазурь, в которой расселись по вершинам белобородые старцы, недвижные мудрецы, стерегущие врата в заповедное царство, куда нет входа земными путями и тропами, и только самолет пролетает над едва различимыми пагодами, золочеными сонными Буддами.

Бомбей – худощавые, с огромными глазами индусы, белые тюрбаны, алое пятнышко между женских черно-синих бровей. И сидеть, дожидаясь посадки, наслаждаясь счастливым одиночеством, своей неопознанностью, наблюдая из-под шапки-невидимки торопливые толпища, не ведающие, что он, Белосельцев, оказался на миг среди них.

Курчавые тенистые джунгли, испарения горячих болот, оловянная струя Меконга. Вьетнам, драгоценный, нарисованный на земле густым изумрудом, синим кобальтом, красным суриком. Хочется коснуться мягкой теплой земли, поднести к губам белый лотос, узреть в ветвях золотистую горбоносую птицу, клюющую сочный плод. Краткая посадка в Сайгоне с разгромленными коробами ангаров, где в бетонных пазухах догнивают взорванные бомбардировщики, алюминиевым сором блестят расщепленные «дугласы», завалились на бок пятнистые, без винтов, «сикорские». И кажется, что в мятых кабинах еще истлевают пилоты, костлявые руки в браслетах давят рычаги и гашетки. Война, неостывшая, сочится зловонием, мерцает ядовитыми угольками, источает голубые дымки тлеющих комбинезонов.

И вот он стоит на балконе старого отеля в Пномпене, рассматривает затуманенный город, над которым клубится желтая грозовая туча, несущая пыльцу ядовитых растений, ртутные вспышки ливня. И быстролетняя мысль: «Это я, Белосельцев, пролетел полземли, вброшен в чужую страну, где меня ожидает туманное, еще не осуществленное будущее, в котором, как семечко в яблоке, спрятана пуля».

Еще одно пробуждение в Пномпене, когда на черных фасадах в пять утра, перед отменной комендантского часа, загораются желтые, лампадно-маслянистые окна. Шлепает, шелестит падающая из кранов вода. Стучат по камням голые пятки. Позванивают звоночки выводимых велосипедов, прислоняемых к стенам у дверей. Мостовая еще пуста, под запретом, как пустое русло, по которому вот-вот хлынет бурный поток. Поднимаются на окнах циновки. Видно, как женщины, неприбранные, медлительные после сна, отвязывают москитные пологи, скатывают на полу постели, расчесывают длинные черно-блестящие волосы. Мужчины, полуголые и худые, с переброшенными через плечо полотенцами, пьют чай за низкими столиками, поглядывают на безлюдную улицу, на звездное небо, прислушиваются к шелестам, звякам. И вдруг на углу визгливо и яростно, с мембранным металлическим эхом ударит в громкоговорителе музыка. И сразу метнутся на дорогу тени велосипедистов, полосую тьму, легкие, острые, как стрижи. Гуще, чаще, и вот, мигая и вспыхивая, сплетаются в колючий подвижный ворох, мешаются с треском моторов, с лучами автомобильных огней, окутываются бензиновой вонью, растревоженным тлеющим запахом нечистот, сладостью гниющих фруктов, дымом жаровен. Над крышами, гася молниеносно звезды, налетает латунный рассвет. Разгромленное здание рынка проступает горчишной громадой. И в доме напротив, где разбрызганы метины артиллерийских осколков, начинает розоветь сохнувший женский платок.

Он стоит на балконе, держится за влажный поручень, думает: «Это – я. Мое утро в Пномпене».

Он увидел, как рядом, на соседний балкон, вышла женщина. Сонно и сладко тянулась после сна, не замечая его. Шурилась на яркую улицу, отбрасывала на затылок черные тяжелые волосы, которые медленно, шелковисто осыпались обратно на полуголое смуглое плечо. Запахнула просторный халат, и он, следя, как захлестывает она на бедрах длинный пояс, видел ее босую ногу, гибко наступившую на решетку балкона.

Она заметила его, не смутилась своего утреннего неубранного вида, полукрытой груди. Улыбнулась белозубо.

– Доброе утро, – сказала она по-французски. – На воздухе так же душно, как и внутри.

– Доброе утро, – ответил Белосельцев. – Похоже, сейчас будет ливень. Ждешь прохлады, а с неба льет кипяток.

– Сегодня ночью несколько раз останавливался вентилятор. Отключали электричество. Под пологом было невозможно дышать. Я выходила на балкон, и сразу же налетали москиты. По-моему, на ночь они все переселяются в город с Меконга. А с рассветом улетают обратно.

– Мои не хотят со мной расставаться и днем. Им нравится мой номер. Нравится, что в нем нет кондиционера, что вентилятор плохо работает и вода идет с переборами.

– Спасибо, хоть этот отель сохранился. Я боялась, что придется жить в кемпинге, в походной палатке.

– Виктор Белосельцев, журналист из Москвы, – представился он, полагая, что сказано достаточно, чтобы установить первый, самый легкий эскиз отношений, необязательных, хрупких, готовых рассыпаться, как паутинка.

– Вы русский? – удивилась она. – А я итальянка. Мария Луиза Боргезе, инспектор ООН. Инспектирую поступление гуманитарной помощи.

Она смотрела на него пристально, с веселым интересом. В ее темных длинных глазах, как в темных ягодах, дрожали фиолетовые искры. Смуглое молодое лицо, крепкие сочные губы, брови, прямые и резкие, – все было красиво, свежо. Отделенный от нее решеткой балкона, он вдруг почувствовал ее прелесть, силу и гибкость тела под неплотной розовой тканью. Смотрел на ее полуоткрытую грудь, загорелую, с темной ложбинкой, на то место, где начиналась белизна, мягко исчезала в просторном вырезе.

– День-другой я пробуду в Пномпене. Напишу в мою газету, как восстанавливается разрушенный город, как в нем пробуждается жизнь. А потом, если мне дадут разрешение, хочу поехать на север, увидеть Ангкор. Я так много читал об Ангкоре, столько раз видел снимки с его барельефами. Будет нелепо оказаться в Кампучии и не увидеть Ангкора. Но там, говорят, идут бои. Вьетнамцы вытесняют к границе красных кхмеров. Буду просить разрешение на поездку в Ангкор.

– Здесь всем управляют вьетнамцы, – сказала итальянка. – Кампучийцы ничего не решают. По линии ООН мне нужно побывать в Сиенреапе и Баттанбанге. Там находятся наши пункты, склады с гуманитарной помощью. Вьетнамцы с большой неохотой дали мне пропуск. Ссылаются на то, что на дороге опасно. Повсюду засады и мины.

– Для женщины это не слишком подходящее занятие – ездить по заминированным дорогам, – сказал Белосельцев. – Там в самом деле стреляют.

– Это моя работа, моя профессия. До этого я была в Анголе, была в Мозамбике. Там, где воюют, люди нуждаются в помощи. Особенно дети. Мы направляем сюда детские медикаменты, детское питание. Но говорят, оно не все доходит до места.

И опять он почувствовал к ней влечение, к ее гибкой босой стопе, худой смуглой щиколотке. Ощутил таинственное совпадение их судеб, мимолетно столкнувшихся на балконах старого дома, под желтой клубящейся тучей, в которой, как люминесцентная лампа, вспыхивала и пульсировала молния. Две одинокие жизни, каждая со своей задачей и смыслом, своим кратким пребыванием в мире, оказались вдруг рядом. В ее глазах, как в ягодах черной смородины, искрятся золотисто-лиловые точки, густые темные брови слегка шевелятся, и она улыбается, смотрит на него через перила балкона, и можно подойти, коснуться ее рукой.

– Я была в Москве, – сказала она. – Очень много снега, холодно. Друзья поили меня водкой, угощали красной икрой.

– К сожалению, у меня нет с собой снега и красной икры. Но бутылку водки я захватил. Можно положить ее в ресторане в холодильник и вечером, если вы еще будете здесь, я вас приглашаю на ужин.

– Посмотрим. Впереди еще целый день. До вечера надо дожить.

– Наши балконы рядом. Назначаю вам свидание здесь, на этом же месте. Я вам спою серенаду. Вы услышите, и мы повидаемся.

– Посмотрим, – засмеялась она и исчезла. И, словно занимая оставшуюся после нее пустоту, ударило из пепельно-желтой тучи трескучим клокочущим громом, дернулось в небе плазменное слепое бельмо. Сплошная, серая, грохочущая вода ударила в горячий асфальт. Вскипая и пузырясь, смыла, как сор, невесомых велосипедистов. Рушилась, затмевала город, била в него толстыми твердыми палками, ревела в водостоках, мяла кровли, будто близкая огромная река подпрыгнула в небо и упала, разбивая об асфальт твердые струи. И там, где она касалась земли, плескались тусклые шумные рыбины, шмякали липкие сочные водоросли. Брызги залетали в двери балкона, орошали кровать, марлевый полог. Белосельцев, оглушенный ливнем, задыхаясь, с восторгом и ужасом смотрел на обилие падающей с неба воды.

Ливень кончился мгновенно, словно в небе перекрыли вентиль. Туча с желтой бахромой, озаряемая вспышками, унеслась за крыши. По асфальту мчались ручьи. Их разрезали велосипедисты, склеивая спицы сверкающей пленкой. Плескались голые крикливые дети. И над всем, как в бане, поднимался горячий пар, рубаха стала волглой, мятой, было невозможно дышать от душных испарений.

Он вышел из отеля и стоял перед своим серо-стальным «Мицубиси», жмурясь от солнечного туманного жара, привыкая к маслянистому ожогу улицы. Велосипедист в синей повязке упругими сандалиями давил педали, нес на багажнике деревянную поперечину, на которой вниз головами висели связки живых кур. Растопырили крылья, мерцали кровяными налитыми глазками, пронесли полураскрытые клювы над горячим асфальтом. Другой велосипедист вез на рынок корзины. Окруженный их белым дырчатый ворохом, он ловко лавировал, пронося в потоке свой легкий плетеный товар. Продавец соков толкал тележку со стопкой нарезанного сахарного тростника. На тележке стояла давилка, похожая на швейную машинку «зингер». Следом тянулась тонкая строчка воды от тающего, укутанного в тряпицу льда. Тонконогий, бритый, в белом шелковом облачении, прошел послушник. Долго сквозил в толпе своей белизной, черно-синей голой макушкой. Две молоденькие женщины в брюках, в одинаковых сиреневых блузках остановили свои велосипеды, запрудили поток и, не замечая этого, оживленно болтали, показывая друг другу пучки редисок.

Белосельцев смотрел на шелестящее, вспыхивающее спицами многолюдье, на истошно гудящие, мигающие поворотными сигналами мотоциклы, на автомобили, с гудками пробирающиеся по осевой, увязающие среди велосипедных рулей, соломенных шляп и повязок. Пномпень, еще недавно безгласный и вымерший, с обугленной чернотой переплетов, трупным ветерком из подвалов, медленно собирал в себя распуганную жизнь, смелеющую, стекавшуюся в него ручейками. Крестьяне из соседних провинций, редкие уцелевшие старожилы заселяли разгромленный город, возвращали ему голоса и лица. Город, раненный, с перебоями дыхания и пульса, оживал, торговал, работал.

Подкатил автобус, остановился у ржавого, с пустыми глазницами светофора. Из автобуса вышли пионеры, тонконогие, хрупкие, в белых рубашках, шелковых красных галстуках, синих пилотках. Заскользили уверенно сквозь толпу, рассекли перекресток, запрудили его. Худой, длиннорукий юноша в белых толстопалых перчатках вскочил на тумбу, легкими точными взмахами, верещаньем свистка стал управлять перекрестком. Погнал велосипедистов в узкие ворота, образованные пионерами, давая простор тяжелому армейскому грузовику с тюками риса, «Мерседесу», стремительно скользнувшему на открытый асфальт. Белосельцев, глядя на пионеров, испытал мучительную к ним нежность и умиление. Дети по наущению взрослых пытались исцелить раненный страдающий город, были ранены вместе с ним. Сел в машину, в ее душное накаленное чрево. Запустил мотор, включил кондиционер, зная, что через минуту прохладная свежесть выдавит из машины пропахшую пластиком духоту. Поехал в посольство.

В посольстве он беседовал с первым секретарем, который уточнял разведзадание. Разговор протекал в затененной, занавешенной комнате, украшенной резными деревянными копиями барельефов Ангкора, на которых царь, окруженный воинами, отправлялся в поход. Комната была экранирована, недоступна прослушиванию, и все равно секретарь, сухошавый, белесый, видимо дозирующий употребление пищи и влаги, говорил негромко, так что некоторые слова угадывались Белосельцевым по движению губ.

– Вы знаете, что наше политическое руководство очень встревожено возможностью крупного военного вьетнамо-тайландского конфликта. План Хо Ши Мина по созданию объединенной Юго-Восточной Азии под протекторатом Вьетнама успешно реализуется. Объединился Северный и Южный Вьетнам. Установлен контроль над Лаосом. Практически контролируется вся Кампучия, за исключением северных районов, где вьетнамцы завершают разгром красных кхмеров. Участились переходы вьетнамских подразделений через тайландскую границу, куда они устремляются, преследуя отступающих «кхмер руж». Базы «кхмер руж» на тайландской территории служат поводом для концентрации вьетнамских войск вдоль границы. Если случится крупная война с Таиландом, американцы не останутся в стороне. Они отреагируют на нее не только здесь, в Кампучии, но и в Европе, в Африке, в Латинской Америке. Везде, где сталкиваются наши и их интересы. Мы не хотим быть вовлеченными в новый виток мировой конфронтации и делаем все, чтобы вьетнамцы умерили свои аппетиты. Нам это дается непросто. В американской печати появились статьи, в которых говорится, что в случае войны с Таиландом Америка сбросит на Ханой атомную бомбу. Здесь, в Кампучии, разворачивается сценарий глобальной ядерной войны...

Белосельцев внимательно слушал. Все это было ему известно, служило политической базой задания, которое он получил в Москве. Он слушал и одновременно рассматривал драгоценную резьбу на смугло-коричневом дереве, где древний кхмерский царь собирался в военный поход.

Властелин в доспехах и шлеме, на боевой колеснице, опоясанный острым мечом. Следом могучее войско. Кавалерия с грозными всадниками. Боевые слоны. Катапульти, огромные луки, заостренные орудия войны. Следом обоз, котлы для походного варева, кашевары, врачи и наложницы. Обнаженные девы гарема. Народ провожает войско, машет вслед колеснице. Желает царю победы, обильной и щедрой добычи. Над кровлей древнего храма летит тонкокрылая птица.

– Признак подготовки к войне – состояние железной дороги, – продолжал секретарь, выпукло шевеля губами, позволяя Белосельцеву по их форме и выпуклости угадывать неслышанные слова. – Дорога проходит от океанского порта Кампонгсома, через Пномпень, сквозь джунгли Баттанбанга и Сиенреапа, до тайландской границы. И дальше, через границу, в Таиланд. Во время правления «кхмер руж» дорога была разрушена, локомотивный парк поврежден. Есть сведения, что вьетнамцы начали восстановление дороги. Завезли паровозы, приступили к ремонту мостов. По степени готовности трассы, по ее пропускной способности можно судить о степени подготовки к войне. Ибо состояние шоссейных дорог удручающее. Крупные перемещения войск, поставки продовольствия и боеприпасов возможны лишь по железной дороге. Поэтому крайне важно исследовать все участки дороги и составить прогноз...

Войско царя разбило походный бивак. Царь отдыхает на ложе. Нагие плясуньи на узорных коврах танцуют любовный танец. Воины скачут в лесах, бьют из луков оленей. Горят костровища, жарится на вертелах мясо, пекутся огромные рыбыны. Отдыхают кони в лугах, дремлют боевые слоны, воины сбросили шлемы, пьют из кубков вино. И над воинским станом, над стягами, трубачами летит острокрылая птица.

– Мы несколько раз посылали дипломатов под разными предложениями в Сиенреап. Однако вьетнамцы вежливо их не пускали, ссылаясь на боевые действия, на угрозу их безопасности. Мы снова настаивали, посылали, и тогда наш товарищ взорвался на дороге, его машина наско-

чила на мину. Вьетнамцы принесли соболезнования, на проводах тела в аэропорту выставили почетный караул. Но у нас есть все основания полагать, что это их рук дело. Они не хотят, чтобы посторонние глаза видели их приготовления. Наши попытки проникнуть в северные районы ни к чему не приводят. Поэтому мы прибегли к вашим услугам...

Войско царя вышло на поле битвы. Трубачи сзывают полки, выстраивается грозная рать. Лучники на слонах усеяли боевые площадки. Колесницы готовы к броску. Пехота нацелила копья. Царь на вершине холма в пышном шатре отдает приказания военачальникам. Вьются на шлемах волны конских хвостов. Навстречу из леса выходит враждебная рать – кони, слоны, колесницы. Взметенные копья, мечи. И над полем брани, как чей-то небесный гонец, летит быстрокрылая птица.

– Ваша легенда – журналист столичной газеты – прекрасно оправдала себя в Афганистане. Мы получили копии ваших афганских статей и показали их вьетнамцам. Мы убедили их в том, что ваши публикации имеют важное политическое значение, должны снять подозрения общественности по поводу ситуации в Кампучии. Мы гарантировали им полную лояльность по отношению к вьетнамской армии, воюющей в джунглях. Гарантировали полную согласованность в интерпретации внутреннего положения Кампучии. Неохотно, но они согласились вас пропустить. В качестве репортера, вооруженный фотокамерой, вы сможете многое увидеть. Проникнуть на север вплоть до границы. Произвести исследование дороги, привезти необходимые снимки. У нас нет другого пути...

Страшная сеча. Столкнулись два грозных войска. Небо затмили стрелы. Скрестились мечи и копья. Сталь рассекает доспех, погружается в богатырскую грудь. Копье пронзает живот. Стрела пробивает глаз. Грызутся кони. Бьются слоны. Гора обезглавленных тел. Подброшенная хоботом, потерявшая шлем голова. Поединок царя и соперника. Воздели мечи, уперлись в землю ногами, готовы сразиться. И над сечей, над кровавым побоищем летит тонкоперая птица.

– Вас будет сопровождать сотрудник кампучийского МИДа Сом Кыт. Очень корректный и сдержанный, лоялен к советским людям. Однако пусть это не вводит вас в заблуждение. Он находится под контролем вьетнамцев. Он станет докладывать вьетнамским властям о любом вашем шаге. Он представляет главную опасность для вас. Нам мало о нем известно. Только то, что он пострадал при Пол Поте и брат его в эмиграции, проживает в Париже. Вы поедете двумя машинами по шоссе номер пять. Вас сопровождает охрана. Мы оплатили бензин и питание...

Царь сокрушил соперника. Поставил стопу на его поверженный лоб. Войско громит врага. Упавший раненый слон, исколотый множеством копий. Арканами ловят пленных, сбрасывают с седел на землю. Ловят трофейных коней. Боевая колесница мчится по полю, давит тела врагов. Горны трубят победу. Над шатром триумфальный стяг. По небу, как вестник победы, несется острокрылая птица, издавая истошный крик.

– Вас проинструктировали в Центре, какие параметры характеризуют готовность дороги к эксплуатации. Качество колеи, ширина зазоров на стыках, прочность насыпи, крепость шпал. Вам следует осмотреть мосты, узнать, укрупняются ли разъезды для встречных эшелонов, готовятся ли водокачки, дровяные и угольные склады. Вьетнамцы отправили на север несколько дрезин с дорожно-строительным оборудованием, и нам известно, что они срочно восстанавливают в Баттамбанге вокзал. Здесь, в Пномпене, они отстроили депо и обкатывают локомотивы, работающие на дровах. Депо рядом, мы видим их паровозы...

Победное войско возвращается в родные пределы. Царь в окружении стражи. Наложницы улаживают царя. Гонят согбенных пленных. Хлещут по спинам бичи. Обоз с огромной добычей. Утварь, монеты, дары. Дымятся задравные чаши. Везут убитых героев. И над войском, над победными стягами, летит, изгибая тончайшие крылья, вещая птица.

– Строительством дороги озабочены не только мы. Дорога интересует американцев. Нам стало известно, что в Пномпень прибыла с миссией ООН итальянка. Под видом эксперта по

вопросам гуманитарной помощи она направляется на север, в Сиенреап. На самом деле она – агент американской военной разведки. Мы сообщили об этом вьетнамцам, и они нам выразили благодарность...

Под стенами города казнь и мучения пленных. Царь наблюдает пытки. Выкалывают ножами глаза. Отрезают языки, вспарывают животы. Подвешивают на крюк и разводят под ногами костер. Сажают на кол. Отсекают руки и ноги. Заливают глотки свинцом. Горы оскопленных, изрубленных тел. Народ взирает со стен. Радуетса мукам врагов. И над местом свирепой казни с тоскливым криком летит тонкокрылая птица.

– Вьетнамцы извещены о вашей поездке. Шифрограмма поступила в военные комендантуры по всему маршруту. Вашего французского вам, я думаю, будет хватать для общения с Сом Кытом, он будет вашим переводчиком. Кстати, нам известно о вашем пристрастии коллекционировать бабочек. Бабочки Юго-Восточной Азии славятся своей красотой. Быть может, ваше увлечение поможет вам при выполнении разведзадания. Желаю удачи! – Секретарь впервые за время разговора улыбнулся и произнес эти слова громко, в полный голос. Поднимаясь, пожал Белосельцеву руку.

Царь торжествует победу. Пир, вино, танцовщицы. Акробаты, наездники. Гуляет счастливый, опоенный вином народ. Над башнями города с таинственным криком несется острокрылая птица.

Белосельцев покидал посольство. Выходил из прохладного сумрака на раскаленное душевное пекло.

Перед тем как направиться в МИД, Белосельцев сделал несколько кругов по городу. Проехал мимо Ватпнома, спрятанного в тенистые кущи парка. Одетый в деревянные леса реставрации, украшенный бумажными фонариками и шелковыми полотнищами, храм готовился к празднованию буддийского Нового года, когда площадь перед святилищем наполнится нарядной толпой, вверх полетят цветные шары и змеи, ударят хлопушки салюта, в вечерних дымах жаровен заскользят, замелькают лучи прожектора, храм, позлащенный, с парусной стройной кровлей, поплывет над толпой, как корабль, и измученный войной народ на минуту забудет о горе.

Осторожно обгоняя велорикшу, везущего в своей трехколесной повозке женщину в шляпе, он сделал шелестящий вираж вокруг памятника Независимости, воздвигнутого Сиануком. Успел разглядеть в золотистом воздухе каменные резные скульптуры, смуглые лица карульных с красными ярлыками петлиц.

Королевский дворец в островерхих золоченых шпицах заструился головами драконов. Там, в глубине, за резными створками, в бархатно-алом сумраке таился нефритовый полупрозрачный Будда, выгибающий стан на высоком серебряном алтаре.

Он испытывал необъяснимое беспокойство, беспричинную тревогу. Его ум и воля, вместо того чтобы сконцентрироваться на сложном, только что подтвержденном задании, пребывали в смятении. Источником беспокойства не было известие о поджидавших его опасностях, о коварстве вьетнамцев, об итальянке-разведчице, с которой недавно говорил на балконе, исподволь взглядывая на ее гибкую босую стопу. Город, в золотистом горячем тумане, в душевных испарениях, разгромленный, с остовами домов, с проломами в стенах, был источником тревоги. Словно сюда упал огромный метеорит, спалил дома и храмы, уничтожил множество жизней и, сгорев, превратившись в пар, оставил после себя таинственную радиацию, химию иных пространств, идею другой галактики. Этот струящийся свет был не от солнца. Этот пар и колеблемый воздух был наполнен мерцающими газами иного небесного тела.

Опять над городом встала желтая ядовитая туча, переполненная горячей кислотой, в которой перекачивались синеватые вспышки. Казалось, здесь, в Пномпене, была неземная атмосфера, другая, лишенная хлорофилла растительность, другие, без красных кровяных тельца, человекоподобные существа, среди которых ему, Белосельцеву, предстояло действовать.

Выбирая улицы побезлюднее, он проехал мимо бывшего концлагеря Туолсленг, угрюмого грязного здания, опутанного колючей проволокой. Теперь тут размещался музей полпотовских зверств, выставлялись орудия пыток, экспонировалась выложенная черепами карта Кампучии, предсмертные фотографии узников, мужчин и женщин, пропущенных через истязания. В глазах у всех было одинаковое выражение остекленелого ужаса, будто перед смертью им показали нечто неземное, не имеющее объяснения, ужаснувшее своей потусторонностью.

Он миновал концлагерь, с облегчением оставляя за собой бремя накопленных здесь мучений. Чтобы снять с себя этот гнет, вернулся на многолюдную трассу, медленно катил среди звонов, визгов и выкриков. Тревога не оставляла его. Машина шла по узкому, свободному пространству вдоль осевой, сдувая гудками легких, блистающих спицами наездников, которые казались почти бестелесными, охваченными чуть заметным свечением. Эта тревога, проносимая им сквозь горячий Пномпень, с клубящейся тучей, наполненной горячим ливнем, была связана с непониманием жизни, в которую он был заброшен. Снова, в который уж раз, кто-то незримый, зорко за ним наблюдающий, управляющий его судьбой, легким нажатием кнопки послал команду. Направил его в таинственный край, где случилось необъяснимое, полное загадок явление – истребление народа. Возник загадочный большой завиток истории, и в этом завитке сгорело пространство и время, уничтожились города и селения, погибла цветущая цивилизация кхмеров. Ему надлежит понять природу случившегося. Взять пробы грунта, оплавленные кусочки породы. Подвергнуть анализу остатки костной муки, бледные отпечатки на камне. Выяснить, чем являлся предмет, упавший из неба на землю, – слепым обломком Вселенной или изощренным созданием разума.

Застрелявая в клубках перекрестков, тормозя, он слышал, как шуршат по машине одежды, прикасаются чьи-то руки, замечал, как быстрые блестящие глаза глядят на него сквозь стекло с велосипедных сидений, из повозок, из-за маленьких столиков под навесами, где китайцы, держатели крохотных харчевен, ставили перед едоками чашки с дымящимся супом, с красно-пропеченной горячей лапшой и бутылочки с соевым соусом. Он свернул на пустырь, на красную липкую землю, где огромно, достигая пальмовых лохматых вершин, громоздилось скопище истребленных машин. Кладбище механизмов, собранных в громадный курган, знаменующий, как было задумано, окончание эры моторов. Возвращение в иную, домоторную эру, связанную с кетменем и мотыгой, добыванием клубеньков и кореньев, высечением огня.

Он остановился, опустил стекло, пропуская в салон струю горячего влажного воздуха. Пахло цветущими деревьями, кислотой разлагающегося железа, истлевающего в едких испарениях тропиков, и едва ощутимой гарью. Это пахло испепеленное время, исчезнувшие молекулы мироздания. Деревья цвели, источали едкие ароматы, испускали обильные природные яды, словно хотели быстрее растворить отданный им на истребление металл. Железо испарялось, утончалось. Над пирамидой исковерканных машин стоял дрожащий, уходящий в небо столб воздуха, словно небо выпивало остатки уничтоженной цивилизации.

Он смотрел на измятые, взметенные вверх скелеты «Мерседесов», «Пежо», «Кадиллаков», на их выдранные пустые глазницы, ржавые диски, ошметки проводов и пружин. Будто автомобили встретились здесь на сверхскорости в страшном одновременном ударе. Спикировали в одну точку с разных высот, направлений, сминаясь в металлический ком. Белосельцев не мог понять, какими гидравлическими прессами были сжаты автомобили, с помощью каких орудий и механизмов были водружены друг на друга в огромную пирамиду. Как на острове Пасхи, здесь действовали загадочные строители, созидавая статую из раздавленных машин. Воздвигали памятник неведомому богу, алтарь загадочной религии.

Над нагретым металлом ввысь поднимался едва заметный светящийся столб. Казалось, в этом месте земля сквозь невидимую пуповину, через прозрачный световод соединяется с Космосом. В обе стороны несутся энергии, происходит обмен. Сюда, из других галактик, по световоду, был направлен удар, вонзилась сокрушающая идея, направленная на изменение истории,

на коррекцию исторических заблуждений. Оттуда, откуда когда-то явилась на землю жизнь и были сотворены растения и рыбы, созданы звери и птицы, возник человек, населил города и земли, построил корабли, самолеты, увеличивая земное могущество, вышел в Космос, – оттуда, из потревоженного человечеством Космоса, грянул удар. Творец замыслил выправить изгиб истории, устранить накопленную за тысячелетия ошибку. Пол Пот и «кхмер руж», Сорбонна и Сартр, экзистенция и «мировое ничто» были выбраны инструментом божественной воли. Стальное кайло пробивало черепа интеллигентов, сгорали дворцы и храмы, и летела в туманном небе Пномпеня вещая острокрылая птица.

Белосельцев смотрел на прозрачный струящийся столб, чувствуя бестелесные, пролетающие энергии. От них, как от реактора, веяло страшной опасностью. Они затягивали в себя, словно смерч, были готовы закрутить, засосать, унести в беспредельность.

Вначале, когда он подъехал, было тихо, но потом вся железная гора стала наполняться едва различимым звуком, тихим шелестом, звяком. Так цикады, умолкнувшие в кроне дерева от приближения человека, осмелев, вновь начинают свои пересвисты и звоны. Огромная жестяная гора тихо дребезжала, звенела, охваченная негромкими неторопливыми постукиваниями. Он заметил, как из-под бампера выглянула черная осторожная голова. В пустой глазнице от фары появилось и скрылось лицо. Вся гора, как огромный термитник, была населена людьми, проникшими в щели и скважины сплюснутых машин. Жители Пномпеня пришли сюда, принеся молотки и зубила, вырезали и выколачивали из мертвых машин куски металла. Обглаживали машины, выдирая из крыльев, капотов и крыш лоскуты. Собранные металлические стопки уносили на окраины, где на дамбах, вдоль сырых, с цветущими ирисами болот теснились утлые хижинки, построенные наспех беженцами и погорельцами.

Он тронул машину, направляясь в МИД, и опять, повинувшись необъяснимому влечению, сделал петлю по городу, подъехал к телевизионному центру. Телевизионная мачта напомнила скелет обглоданной рыбы. Построенная у ее основания студия была разгромлена. Сквозь сорванные двери и разбитые окна виднелись взломанные шкафы с электроникой, хрупкие приборы и механизмы со следами остервенелых ударов. Через порог с мокрой земли устремились в помещение цепкие зеленые стебли. Было ощущение, что растения из разных мест окружавшего студию сквера направили к дверям зеленые стрелы, торопятся ворваться в помещение, захватить оставленную людьми территорию. Передовые отряды уже проникли в глубь студии, оплели металл, просунули свои почки и листья в полости разбитых приборов, вслед за погромщиками продолжают истребление студии. Карабкаются на пультах компьютеров, застилают дисплеи, тянутся к дырявому сквозящему потолку, штурмуя этаж за этажом. Норовят добраться до железных конструкций мачты, оплести до вершины, нависнуть на ней сочными зелеными тоннами, источить едким соком и обрушить.

Было жутко смотреть на это осознанное, агрессивное торжество природы, торопящейся стереть следы ненавистной ей техники. На столь быстрое и простое исчезновение с лица земли плодов человеческой деятельности, казавшихся незыблемыми. Растения наносили удар. Насекомые и бактерии довершали работу, превращая стальные сплавы в рыжую пыль.

Радио, телеграф, электронные средства связи, сочетавшие человечество в огромное сообщество, управляемое из единого центра с помощью телевизионной картинки, упрощенного знака, общей для всех программы, были объектами этой бесшумной атаки цветущих стеблей и листьев. Тот, кто натравил агрессивные деревья и травы на компьютеры, хотел разорвать электронную сеть, брошенную на человечество, стереть из памяти азбуку, цифры, бесконечных говорливых витий, взявших на себя роль учителей и пророков, уводящих человечество все дальше от природы, от тайного безмолвного языка, соединяющего души и сердца, сочетающего людей, растения, звезды в нераздельный дышащий Космос.

Неподалеку, под могучим дуплистым деревом, оранжевый бонза расставил поминальный алтарь, курящиеся благовонные палочки, нищенскую дароносицу. Сидел, скорчившись, под

хватив грязно-оранжевые полы хламиды. К нему подходили какие-то медлительные печальные женщины, затянутые в длинные юбки, и худые тихие дети с коричневыми огромными глазами. Приближался буддийский Новый год, повсюду обильно курились алтари, поминали убитых.

Белосельцев в который раз хотел уяснить мотивы убийства цветущего полнокровного города, которым еще недавно любовалась вся Азия. Убийства не постепенного, не частями, а разом, в одночасье, как были убиты Дрезден и Хиросима.

Одержимые фанатической «крестьянской» идеей, реликтовой «крестьянской» мечтой, ненавидя религиозной ненавистью цивилизацию, машины, всех, кто стоял у станков, сидел в аудиториях, держал перо или кисть, колонны «кхмер руж» входили в покоренный Пномпень. Их атака на город из лесных лагерей, из партизанских баз напоминала наступление растений, штурм деревьев, бросок диких птиц и зверей, поднявших восстание против заводов, университетов, железных дорог. Политическая верхушка полпотовцев была мистической сектой, возвращавшей на землю религию древних богов, обитавших в джунглях, в таинственных водах рек, в звездах и тучах небесных. Эта секта, получившая знания в лучших университетах Франции, создавшая партизанскую армию землепашцев, соединила Маркузе и Маркса с древними восточными культами. Спланировала истребление госаппарата, военных, университетских и банковских служащих, инженеров, врачей и бонз – все, что составляло опору культуры. По улицам покоренного города носились военные джипы, и люди в черных одеждах, с мегафонами возвещали: «Всем покинуть город! Начинаем бомбардировку Пномпеня!»

Жители покидали дома, строились в долгие, стенающие колонны. Их угоняли в поля, на дороги, на жидкие проселки и болотные тропы. Обезлюдевший город, где не осталось ни одного человека, остывал, как тело, из которого выпили кровь. Струились золотые пагоды, стояли у тротуаров автомобили, мигали на углах светофоры, но уже лианы протянули к домам свои цепкие стебли, семена цветов упали на домашнюю скатерть, рыжий клочок лишайника зацепился за концертный рояль.

Вьетнамские танкисты, без боя вошедшие в город, увидели пустые квартиры с нетронутой на столах посудой, которая простояла три года, окруженная гнездами летучих мышей и термитов.

Готовясь к поездке в Пномпень, изучая конструкцию железнодорожной колеи, параметры, описывающие пропускную способность дороги, Белосельцев перечитал массу политических и военных статей о трагедии Кампучии. Исповеди пленных палачей и чудом уцелевших жертв. Жутко однообразные рассказы об убийствах и казнях. Сквозь стенания и слезы пострадавших, гул пропаганды, геополитическую и военную аналитику ему все чудилось тайное учение Востока – об иной Земле, иных божествах и людях, мимо которых промахнулась история. Странные люди, именуемые в политике «красными кхмерами», а в народе «черными воронами», прошедшие Сорбонну и джунгли, неудачно, ударом кайла по черепу, попытались исправить ошибку истории.

В Министерстве иностранных дел, в приемной, секретарша с тихой улыбкой пригласила его в гостиную, обитую темным шелком. Усадила за низкий столик. Поставила перед ним высокий стакан с напитком, с плавающими кубиками льда. Белосельцев жадно пригубил, останавливая себя, зная, что влага ненадолго остудит тело, тут же выступит под рубашкой горячей росой. Еще в Афганистане он научился управлять своей плотью в изнуряющей жаре Регистана, когда от прикосновения к броне на коже загорался ожог.

В гостиную бесшумно вошел Сом Кыт, маленький, сухой, невесомый, за счет своей легкости почти не касался пола. Нес в руках тонкую папочку. Его желтоватое широкоскулое лицо, без морщин и складок, с неподвижными, словно выточенными чертами, не имело возраста. Черные жесткие волосы без седины, спокойные, внимательные глаза под темными бровями, коричневые сжатые губы. Это лицо своими очевидными чертами выражало сдержанность, ненавязчивость, протокольную корректность и почти равнодушные к собеседнику. Но при этом

каким-то невидимым, помещенным на лице органом, быть может третьим, затянутым кожей глазом, расположенным на лбу между синеватых бровей, он исследовал Белосельцева. Пытался его угадать, читал его мысли и чувства. Делал с Белосельцева моментальные, скрытой камерой, фотографии.

– Дорогой Сом Кыт, – Белосельцев говорил по-французски, придавая своим первым фразам любезный тон, – я пришел представиться и поблагодарить министерство за чуткое отношение к моей просьбе. Надеюсь отблагодарить вас и в вашем лице кампучийцев правдивым и сочувственным рассказом на страницах моей газеты о страданиях вашего народа, об усилиях новой власти, направленных на возрождение родины.

– Я рад нашему знакомству. – Голос Сом Кыта был тихий и ровный, а французский язык безукоризненный. – Мы готовы пойти вам навстречу и первому из журналистов организовать поездку на север. Хотя, не скрою, есть немалая доля риска. В районах Баттамбанга и Сиемреапа идут бои. Таиландская артиллерия наносит удары по позициям нашей армии. Но мы очень уважаем советских друзей, с пониманием относимся к просьбе вашего посольства. Поэтому хоть и с небольшой задержкой, но программа поездки составлена, машина и охрана приготовлены, и мы сможем выехать завтра.

– Я очень много жду от нашей поездки, – любезно произнес Белосельцев. – После Афганистана это вторая воюющая страна, где мне приходится работать. Если не возражаете, дорогой Сом Кыт, я готов познакомиться с программой.

Сом Кыт раскрыл свою аккуратную папку, извлек и разложил на столе старую, склеенную на сгибах скотчем туристическую карту Кампучии. Стал пояснять маршрут.

Поездка была рассчитана на неделю. Совершалась машиной по шоссе номер пять, вдоль юго-западной кромки озера Тонлесап, до Баттанбанга и Сиемреапа, с заездом в крестьянские кооперативы, на фабрики, пагоды. Предусматривала встречи с интеллигенцией и духовенством и, если позволят обстоятельства, контакты с кампучийскими и вьетнамскими военными. План поездки был согласован на самом высоком уровне, о нем знало вьетнамское командование. Сом Кыту оставалось подписать несколько пропусков, открывающих доступ в военные части, а также разослать радиogramмы в местные комитеты, извещая о прибытии советского журналиста.

Белосельцев рассматривал красную линию шоссе и бегущую рядом серую пульсирующую черту железной дороги, отмечая места их совпадения и сближения. Фиксировал точки на шоссе, где под разными предлогами возможны остановки, выходы на насыпь. Тут же начинал придумывать эти предлоги и поводы, которые должны убедить зоркого, чуткого провожатого. Посмотрел на Сом Кыта, на его близкое, замкнутое лицо, и ему показалось, что тот читает его мысли. Третье око, затянутое смуглой кожей, смотрит сквозь лобную кость, прозревает тайные планы Белосельцева. И чтобы скрыть эти планы, стать незримым для ясно-видца, он начал вбрасывать в сознание случайные образы придорожных пагод под покатыми кровлями с деревянными буддами, покрашенными в красный сурик, танцовщиц в коротких, как набедренные повязки, юбках, с колокольчиками на щиколотках и гибких запястьях, солнечные поляны в горячих джунглях с летающими желтыми бабочками. И этот ворох хрестоматийных образов закрывал собой тусклую стальную колею, ржавые, нагретые солнцем двутавры, разболтанные костыли, вбитые в измочаленные, полуистлевшие шпалы.

– Еще раз, дорогой Сом Кыт, хочу поблагодарить министерство за эту поездку. – Белосельцев старался быть приветливым, искренне душевным и дружелюбным, открывая всевидящему оку кампучийца свою наивную, благодарную, жаждущую впечатлений душу, которая доверялась благосклонному поводырю. – Хотелось бы узнать, как мы станем решать в дороге проблему ночлегов и продовольствия. Стоит ли брать с собой москитную сетку, запас продуктов.

– Ночевать мы будем в отелях. Обедать и ужинать – в ресторанах. В Баттанбанге и Сиереапе вы можете рассчитывать на европейскую кухню. Единственно, что, может быть, вам следует с собой захватить, – это медикаменты.

– Какие?

– Профилактические, от лихорадки. Нам придется ехать сквозь джунгли. И желудочные. Местная вода не всегда по нутру европейцам. Хотя, повторяю, мы будем есть в ресторанах, где соблюдается гигиена.

– Благодарю за совет. От лихорадки и желудочных заболеваний нас убережет русская водка. А от тайландского снаряда или фугаса мы закроемся москитной сеткой.

Белосельцев рискнул пошутить, надеясь этой мягкой шуткой вызвать улыбку на замкнутом лице кампучийца. Но оно оставалось непроницаемым, как лик маленького изваяния. И Белосельцев понял, что главной опасностью для него является не вьетнамская контрразведка, не кампучийские спецслужбы, а этот интеллигентный дипломат, поставленный подле него соглядатаем, читающий его мысли и чувства, закрытый и невидимый.

– От возможных случайностей нас защитит охрана, – сказал Сом Кыт.

– На какой машине мы поедем?

– На «Тойоте». Дорога очень плохая. Не ремонтировалась пять лет. Ее разбили войска, танки. Нам нужен вездеход. Кроме нас и шофера поедут два солдата охраны. На похожих «Тойотах» передвигаются представители ООН. Это в какой-то мере обезопасит нас от нападения из засады. Полпотовцы не стреляют по этим джипам. ООН доставляет продовольствие в их лагерь в Таиланде.

Белосельцев видел разъезжающие по Пномпеню белые машины с голубой, видимой издали эмблемой. Такие машины в сознании людей связывались с западными поставками риса в недавние голодные месяцы. Советские поставки хлеба и топлива не были связаны с рекламой. Мало говорилось о советских портовиках, ожививших пирсы и краны Кампонгсома. О советских врачах, остановивших эпидемии в Пномпене.

– Завтра в пять утра машина придет за вами в отель, – сказал Сом Кыт, аккуратно складывая карту.

– Если можно, к посольству, – попросил Белосельцев. – Утром я отгоню машину в посольство и буду вас ждать у въезда.

– Хорошо, – сказал Сом Кыт. – Я живу недалеко от посольства.

Они расстались. Сом Кыт с восточным поклоном покинул гостиную, маленький, изящный, похожий на статуэтку.

Вьетнамский пресс-атташе Нгуен Фам принял его в прохладной гостиной с лаковыми миниатюрами на стенах. Разливал кофе в крохотные чашечки. Умными веселыми глазами, маленьким улыбающимся ртом выражал радушие.

– На улице нечем дышать, наверное, будет ливень, – сказал Белосельцев, используя эти первые необязательные минуты общения для того, чтобы исследовать своего собеседника. Его облик, манеры, исходящие от него эмоции. Обнаружить среди них особенности, которые несли в себе возможную опасность, скрытые точки, в которых таились угрозы. Видел, что и вьетнамец, наклоня фарфоровый кофейник, зорко, чутко его осматривает. – По-моему, в этом году раньше обычного начался сезон дождей. Я тяжело переношу эти ливни. – Шагая от машины к посольству по бесцветному пеклу, он снова успел перегреться, откинулся в тень шторы, сторонясь полосы солнца.

– За местных крестьян можно порадоваться, – сказал Нгуен Фам, сочувствуя Белосельцеву, но одновременно тонкой, едва уловимой интонацией противопоставляя его страдания случайного, временно оказавшегося здесь европейца насущным заботам извечных обитателей этих раскаленных земель. – Ранние дожди – к урожаю. В деревнях уже начали сеять рис.

– Интересно, как вы, северяне-вьетнамцы, переносите климат Кампучии? – спросил Белосельцев. Это был ответный, едва ощутимый укол. Атташе, крупный чиновник посольства, по всей видимости, был из Ханоя. Его пребывание в Пномпене являлось не обычной дипломатической миссией, а частью военной программы, согласно которой вьетнамская армия с боями вошла в Кампучию. Разгромила режим Пол Пота, выдавливая его из страны, устанавливая по всей территории новую, подконтрольную власть. Эта поднадзорная власть, робко вернувшаяся в города и селения, действовала под присмотром вьетнамских военных.

– В Ханое под бомбежками даже самый хороший климат не приносил утешения. Конечно, здесь жарко. Но не бомбят. Пусть лучше грохочет гром и льется дождь, чем ревут американские самолеты и льется напалм.

Это был ответ человека, который осознавал себя частью системы, победившей Америку. Заплатившего за эту победу неисчислимыми жертвами, готового сполна воспользоваться плодами этой победы, имеющего право здесь, в Кампучии, действовать в интересах своей безопасности, своей национальной стратегии.

– Конечно, ранние дожди – благодать для крестьян, – согласился Белосельцев не с этим очевидным утверждением, а с правом победителя, принимая его сторону, отдавая ему должное. – Слава богу, изголодавшаяся Кампучия может надеяться на хороший урожай. – Он с наслаждением отпил горько-сладкий, живительный глоток кофе, возвращая себе бодрость, этим длящимся секунду глотком отделяя предварительную часть разговора от главной и основной. – Но, как я полагаю, ранние дожди – одновременно и помеха для армии. Мешают боевой активности.

– Я читал ваши репортажи из Афганистана, – ответил атташе. – Знаю ваш особый интерес к армии. Насколько мне известно, войска стремятся сейчас разгромить в горах последние базы Пол Пота. Не допустить проникновения из Таиланда новых банд до начала обильных ливней. Противнику будет трудно в сезон дождей пробраться через болота и джунгли с продовольствием и оружием в Кампучию.

– Таиланд ведет себя дерзко. Артиллерия бьет через границу. Происходит концентрация войск. Неужели Таиланд может решиться на серьезный конфликт? – Это было опасным приближением к запретной теме, которая одна по-настоящему волновала Белосельцева. Слушила истинным поводом его появления здесь. Риск, на который он пошел, задавая вопрос, был продиктован интеллектуальным азартом и инстинктом, подсказывающим ему, что не следовало создавать фигуру умолчания вокруг темы возможной войны. Это умолчание указывало на истинный его интерес, могло насторожить собеседника.

– Вряд ли, – ответил Нгуен Фам. – Мы не допустим конфликта. Мы хотим, чтобы в Юго-Восточной Азии после стольких лет войны воцарился мир.

Этот краткий ответ напоминал узорное жалюзи, которое опускают перед носом человека, пожелавшего заглянуть в чужое окно. В ответе была запрещающая твердость, адресованная другу, который не должен злоупотреблять дружбой и стараться проникнуть в святая святых другого. Гостю отводилось определенное, ограниченное пространство, где он мог беспрепятственно действовать, пользуясь гостеприимством хозяев.

– Вы знаете, дорогой Нгуен Фам, кампучийцы позволили мне побывать в районе границы. Завтра я выезжаю. Считаю необходимым проконсультироваться с вами. Рассчитываю на вашу поддержку. – Это высказывание выражало готовность к соблюдению всех явных и неявных правил, установленных вьетнамцами в контролируемой ими стране. Оповещало атташе о лояльности Белосельцева ко всему, что он увидит в дороге.

– Мы всегда готовы помочь друзьям, – ответил Нгуен Фам, принимая от Белосельцева эти неявно выраженные заверения. – Друзья должны помогать друг другу. Это очень хорошо, что вы едете. Советские читатели должны узнать о процессах, происходящих в новой, свободной

Кампучии. Уверен, кампучийцы покажут вам все, что вас интересует. И мы, разумеется, в свою очередь пойдем вам навстречу. О чем бы вы хотели просить?

Белосельцев мягко, ненастойчиво перечислил ряд продуманных просьб, связанных с посещением действующих вьетнамских частей, с предоставлением военного транспорта, быть может, и вертолетного.

– Хорошо, – сказал атташе. – Я обо всем доложу послу.

Белосельцев знал, что ответ был формален. Послу давно было доложено о прибытии Белосельцева, о его маршрутах и планах. Разведка вьетнамских частей была извещена о его продвижении. Его путешествие будет проходить под присмотром сдержанного кампучийца Сом Кыта, под бдительным оком вьетнамских военных комендатур.

– Хочу на прощанье, как другу, дать вам совет, – любезно сказал атташе. – Не пренебрегайте правилами безопасности. Там идут боевые действия, развернута минная война. В прошлом месяце произошел трагический случай. Советский дипломат, помощник советника, подорвался на mine. Он направился к разрушенному железнодорожному мосту и подорвался. Должно быть, это был старый полпотовский фугас. Нам было жаль жизни молодого советского дипломата.

Это было самое важное, что услышал Белосельцев за десять минут разговора. Эта была угроза ему, разведчику, в том случае, если его легенда журналиста разгадана и выяснена истинная цель появления. Если же цель не разгадана и он в глазах вьетнамцев остается журналистом, это был косвенный знак того, что вьетнамцы окружили секретностью информацию о железной дороге и эта дорога восстанавливается и станет служить военным, тщательно засекреченным целям.

Они пожали друг другу руки, политические единомышленники и друзья, нуждающиеся друг в друге, доверяющие друг другу настолько, насколько позволяла огромность земного шара, на котором во все века каждый народ вел жестокую войну за свое выживание.

На обратном пути в отель Белосельцев свернул к Меконгу, громодно и тускло ослепившему его своим тяжелым разливом. Он въехал на разрушенный мост, подкатил к распавшейся пустоте, где внизу, в бурунах, ржавели разодранные взрывом конструкции, слепо катился шоколадный разлив реки. Гнили на отмелях поврежденные теплоходы, пятнистые, киями вверх, военные самоходки. Тут же на берегу сгрудилась полуголая ребятня. Те, что повзрослей, ныряли в реку, оставляя расходящиеся круги. Пребывали под водой, а потом шумно выныривали, выволакивали на берег шматки тины и ила. Весь берег был в засохших водорослях, в обломках ракушек, в кучках черного спекшегося ила.

Белосельцев знал: в этом месте, на спуске к реке, полпотовцы расстреляли захваченных военных, министров, их жен и детей. В первое время ныряльщики доставали со дна золотые кольца, браслеты, украшения из серебра. Он смотрел на глазировано-блестящие детские тела, остро уходящие в воду. На голубоватую грязь, стекавшую с их ладоней, которые они подставляли под солнце, надеясь углядеть желтую золотую искру. За рекой, в голубовато-волнистых туманах, лежала разоренная больная страна, населенная сиротами, вдовами. Тлела в могилах плоть миллионов убитых. В джунглях длилась борьба. Накапливались ударные армии для новой жестокой войны. Он, Белосельцев, оказался на огромном волчке, запущенном на оконечности Азии. Вращались в дымах и пожарах растревоженные земли и страны. Тлели разоренные города и селения. Где-то среди этих вращений таился нагретый ствол автомата, и в рожке, среди желтых патронов, покоился один, с отточенной пулей, предназначенный для него.

Он вернулся в отель, стоял под душем, не освежавшим, теплым, смывающим пот с его изнуренного тела. Сквозь открытую дверь, из-под брызжущей струи, он видел свою кровать с марлевым балдахином, защищавшим от moskitov. В потолке мерно вращался вентилятор, разгоняя по углам теплый спрессованный воздух. Лежал его походный баул, смена белья, черный, похожий на притаившегося зверька фотоаппарат. Тут же белел сачок, его чистая кисея еще не

была испачкана соком тропических трав, капельками нектара и лимфы, в него не вцепились колючие семена бурьяна. Его нехитрый дорожный скарб не включал в себя оружия, переносной радиостанции, кодирующих устройств. Только маленький ящичек транзистора, который позволял ему слушать музыку тех пространств, куда его заносила судьба. То афганские революционные марши, то пакистанские, похожие на молитвы муэдзинов, мелодии, то кампучийские и вьетнамские напевы, в которых было нечто от желтизны рассветов, от туманной пыльцы раскаленных джунглей, завитков и орнаментов пагод и что-то еще, таинственное и мучительное, напоминавшее золотую, из тончайших волокон сережку.

Он вышел из-под душа и стоял, растираясь полотенцем, чувствуя, как широкие лопасти вентилятора охлаждают влажные плечи.

Вышел на балкон. День клонился к вечеру, жар слегка спал. Этого было достаточно, чтобы дышалось легче. Он смотрел на мелькание велосипедистов, похожих на крылатых термитов. Казалось, за спиной у каждого сложены прозрачные крылья. Сейчас взлетят, подымутся выше крыш легким ворохом, и тогда из вечернего неба вынырнут шуршащие зеленоголовые стрекозы, нападут на них.

Он услышал звук на соседнем балконе, и итальянка, черноволосая, смуглая, с влажной свежей кожей, только что из-под душа, в сиреневой яркой блузке, появилась на балконе, словно услышала его появление, ждала его.

– Добрый вечер, – приветствовал он ее, наклонившись к ней через поручни. – Как прошел день? Какие успехи?

– По-моему, все готово к завтрашнему отъезду. Такая волокита повсюду. Можно подумать, им не нужна гуманитарная помощь. Они делают любезность, принимая продовольствие и медикаменты. – Она говорила громко, но не сердито, улыбалась белозубым ртом. На ее смуглой шее висела серебряная цепочка, и он хотел угадать, что прячется под сиреневой тканью – крестик или ладанка. – Дозвонилась в Рим. Вчера весь день не было телефонной связи.

– Какая погода в Риме? – с легкой насмешкой спросил Белосельцев. Перед ним стояла разведчица, которую противник послал в те же самые джунгли, куда направлялся он сам. Встревожженный возможностью новой большой войны на Востоке, противник послал эту молодую прелестную женщину в зону боев и засад, в край малярии и лихорадки, предложив ей исследовать состояние железной дороги. Оба они, из разных враждующих станов, маскируясь под разными личинами, пробирались к железной дороге. Обоих подстерегали опасности. Оба были похожи. И эта схожесть странно возбуждала Белосельцева. Он не испытывал к ней враждебности, а одно любопытство, род солидарности, понимая, сколь сложно будет ей находиться в странствии, где никто не придет на помощь, не защитит, не спасет. – В Риме холодно или жарко?

– По сравнению с Пномпенем там русский мороз.

– Вот бы сейчас из этой тучи пошел небольшой снег. Я бы слепил снежок и кинул его через улицу в противоположный дом.

– В Москве я играла в снежки. Друзья привели меня к Кремлю, я сделала снежок и кинула в красную кирпичную стену, но попала в случайного прохожего. Мне было очень неловко.

– Этим случайным прохожим был я. Вы не узнаете меня? Снежок попал мне за шиворот, было очень приятно. Я приехал в Пномпень, узнав, что вы здесь, специально, чтобы поблагодарить за доставленное удовольствие.

Она смотрела на него пристально и серьезно, словно пыталась признать в нем того проходящего в снегопаде москвича. В глазах ее заблестели яркие точки, она громко, белозубо рассмеялась.

– Нет, тот был другой. Он был старый, и его не занесло бы в такое замечательное место, как это. Он был нелюбопытен, был не журналист, не ездил на «Мицубиси» так, что люди шара-

хаютя от него врассыпную. Он побаивался женщин, опирался на палку, не имел обыкновения разговаривать через балкон с малознакомыми дамами. Нет, то были не вы.

– Все не в мою пользу, – огорчился Белосельцев. – По сравнению с тем счастливец я выгляжу неудачником. Вы должны снизойти ко мне. Должны протянуть мне руку помощи. Должны оказать мне гуманитарную помощь.

– В каком размере и в виде чего?

– Вы должны поужинать со мной. Этого требует справедливость. Требуется устав ООН.

– Мне вам трудно отказать. Не могу вас сделать несчастным.

– Тогда спускайтесь. Жду вас внизу. Тут, через два дома, есть китайский ресторанчик, который держит один хуацяо. Мы немного поедим лягушек, и тогда вы все-таки вспомните, что счастливцем, в которого вы запустили снежком, был я.

Они дошли до ресторана с открытой верандой под полосатым натянутым тентом. Миновали стойку, где хозяин-китаец, откупоривая толстобочную бутылку, им поклонился. Пересекли большой зал, пустой в этот час, с рекламными плакатами польской и чехословацкой авиакомпаний на стенах и негромкой, для улаждения слуха, музыкой. Очутились в заднем, с прогалом на улицу помещении, продуваемом ветром, с маленькими, не слишком опрятными столиками, за которыми сидели кампучийцы, поглядывали на перламутровую пивную пену в своих стаканах, кидали в пенные пузыри кубики льда.

Едва они устроились за столиком так, чтобы видна была улица, металлически потемневшая от тучи, с чьей-то сорванной соломенной шляпкой, мчащейся среди велосипедных спиц и педалей, к ним подошла жена хозяина, широколицая увядшая китаянка. Устало улыбаясь, расставила перед ними приборы, блюдечки с белыми хлебцами, свежими, теплыми, испеченными из душистой пшеничной муки.

– Итак, что мы выберем, – сказал Белосельцев, заглядывая в тяжелую, с облупленным золотом карту. – Что-нибудь из средиземноморской кухни? Я вижу суп из креветок. Пусть он вам напомнит о родине. И жареные лягушки. Пусть они вам напомнят о лягушке-путешественнице, которая не соблюдала правил дорожной безопасности и не пристегнулась во время полета ремнями.

– Я прилежно соблюдаю все правила дорожной безопасности и все правила дорожной гигиены. Боюсь, не повредит ли нам эта ваша средиземноморская кухня.

– Чтобы до конца быть уверенным, закажем по рюмке коньяку. Должны же мы выпить за знакомство.

Он передал заказ китаянке. Смотрел, как она вдалеке за стойкой снимает черную пузатую бутылку, оттирает пыль, наполняет рюмки. Рядом, в проеме, шелестела, мерцала улица. Два служителя-китайца мускулистыми руками перевертывали прозрачную глыбу льда. Несли ее, отекающую водой, в ледник, где хранилась свежая, привезенная из Кампонгсома рыба, моллюски, омары, доставленные с океанского побережья.

На крохотном подносе китаянка принесла коньяк. Он снял рюмки. Итальянка смотрела на него, щурясь, собрав у глаз тончайшую кисею морщинок, напоминавших крылья бабочки.

– Я предлагаю выпить за случай, который нас познакомил в Пномпене, – сказал Белосельцев, рассматривая эту нежную у глаз кисею. – Что должно было случиться в мире, какое совпадение звезд и планет, чтобы мы, из двух половин земли, вдруг оказались на соседних балконах и я, набравшись смелости, заговорил с вами, Мария Луиза?

– Первой заговорила я. И это не стоило мне труда. Но я с вами согласна, в жизни много случайного. В конце концов убеждаешься, что только то оказывается по-настоящему ценным, что вызвано случаем, а не замыслом. Выпьем за случай!

Он выпил свою рюмку быстрее, чем она. Смотрел, как она закрыла веки и они слабо вздрагивают с каждым ее глотком. Вдруг подумал, что «случаем», за который они только что выпили, была пришедшая в негодность железная дорога, составлявшая заботу вьетнамского

генерального штаба, правительства Таиланда, руководства «кхмер руж», скрывавшегося в лесных блиндажах, американской и советской разведок. Этот «случай» был будущим военно-стратегическим конфликтом, в котором итальянка и он, глядящий на ее дрожащие веки, были крохотными песчинками, готовыми стореть и исчезнуть. Их малость и обреченность, невозможность уклониться от управлявших ими непреклонных и жестоких сил сближали их. Он пережил болезненное мгновение, успел прогнать с лица его тень, прежде чем она открыла глаза.

– О чем вы думали? Я сквозь веки чувствовала, что вы смотрите и думаете о чем-то печальном.

– Ни о чем особенном. Должно быть, о том, что мы не сможем поехать с вами в одной машине. Болтать по дороге, останавливаться в одних тех же харчевнях, выпивать по рюмочке душистого коньяка.

– Но, быть может, в Баттамбанге и Сиенреапе мы остановимся в одних и тех же отелях. Вечерами у нас будет возможность встретиться и обменяться впечатлениями. Кстати, верно ли, что шоссе-гигант ужасно разбита? Если бы функционировала железная дорога, мы добрались бы с большими удобствами.

Упоминание о дороге было похоже на соринку, ударившую в зрачок. Либо итальянка думала о дороге постоянно, как и он сам, и эта сокровенная мысль случайно, словно корень размытого дерева, выступила на поверхность. Либо итальянка знала, что он разведчик, получила о нем информацию от своего резидента, и это был едва уловимый намек, исподволь поданный знак, упрощающий их отношения.

– Я подумал... – Белосельцев слышал над крышами близкий гром. Двое прохожих вбежали под тент, спасаясь от пыльного ветра. Смеялись, указывая пальцами на сорванные с голов, колесом катящиеся шляпы. – Я подумал, неужели нет такого человека в Риме, который не хотел бы вас отпустить. Запретил бы вам сюда ехать. Встал в дверях и сказал бы вам: «Не пушу!» Неужели в Риме нет такого мужчины?

– Увы! – засмеялась она. – Ни в Риме, ни в Гамбурге, ни в Москве. Я вольная птица!

– Вы летаете там, где идет охота на птиц. – Это был ответный знак и намек. Если она видит в нем журналиста, она не заметит знака. Если она в нем видит разведчика, то этот намек установит между ними негласное соглашение, сблизит их, людей одной профессии, заставит соблюдать неписанные правила опасной игры, которую им предложили.

Им принесли суп из розовых, бледных креветок, остро-сладкий, пахучий, с плавающими ломтиками ананаса. Они черпали ложечками-совочками ароматную гущу, откладывали на блюде колючие панцири вываренных креветок. Китайка подала две тарелки обжаренных, нежно-золотистых лягушек. Они брали руками хрупкие конечности с нежными белыми мускулами и вкусом молодого цыпленка, очищали до блестящих косточек.

– Вообще-то я родом с Сицилии, из Сиракуз, – сказала она. – Вам такой городок, должно быть, неведом.

– Почему же неведом? Я был в Сиракузах. Был в Палермо. Был в вашем местечке Манделла. Теперь я понимаю, где мог вас видеть. Ну конечно, в Сиракузах, на набережной. Стоял и думал, как Архимед своими зеркалами сжег неприятельский флот. Вы прошли, задели меня рукавом своей зеленой шелковой блузки.

Она недоверчиво на него посмотрела, в ее черных блестящих глазах появилось беспокойство, словно она и впрямь старалась вспомнить приморскую, одетую в гранит набережную, солнечный блеск моря, стариков с длинными удочками, в выгоревших шляпах, и один рыбак выхватил из моря розового маленького осьминога, сдернул с крючка и, ухватив за щупальца, бил чмокающей клювастой головой о камень. Звук умирающего маленького морского чудовища, запах моря, белый блеск на воде, в котором растворялся, словно плавился, черный корабль, – все это он вспомнил сейчас, глядя в ее встревоженные глаза.

– Как же вы там оказались? – выпрашивала она недоверчиво, словно он и впрямь угадал и у нее была зеленая шелковая блузка с широкими, раздувавшимися на ветру рукавами.

– Куда не попадет журналист!

Тогда его послали на Сицилию, в курортный городок Манделла, где проходило вручение международной литературной премии, собирались мировые именитости, лауреаты и кинозвезды, развлекались богатые бездельники, отдыхающие дельцы и разведчики. Он, примерявший на себя легенду журналиста, фигурировал в списках прессы, а значит, вошел в компьютер данных как журналист, освещавший церемонию наград. Эти несколько дней на Сицилии запомнились ему постоянным хмелем, вкусом легкого золотого вина, маленькими гостиницами в горах, голубыми бассейнами, представлениями марионеток, сахарно-белыми развалинами амфитеатров и рыбными рынками, где на тающем льду лежали розовые, голубые, серебряные рыбины, только что выхваченные из средиземноморских глубин.

– Как знать, – сказала она. – Я и впрямь могла пройти мимо и задеть вас рукавом моей блузки. Все в руках Божьих. Теперь Богу для чего-то оказалось угодно, чтобы мы повстречались в Пномпене. Сидим, разговариваем, шутим. А что Бог задумал, не знаем.

Она легонько коснулась своей шеи, нащупав цепочку, на которой, невидимый, висел медальон или крестик. Этим прикосновением попросила у Бога помощи, милосердия. В ее быстром машинальном жесте была беспомощность, тайное ожидание опасности, молитва, чтобы напасти ее избежали. И это тронуло его.

– Я люблю итальянцев, – сказал он. – Они страстные, вероломные, религиозные, грешные, падкие на деньги, чудесно поют, великолепно рисуют и ради эстетического наслаждения сожгли Рим.

– А я люблю русских, – в тон ему ответила она. – Они наивны, упрямы, щедры, безрассудны, много пьют, пишут хорошие книги и из любви к отечеству сожгли Москву.

– Я не люблю американцев. Они богаты, вместо книг читают аннотации, думают, что им все можно, истребили бизонов, хотят застроить мир Диснейлендами, не сожгли Вашингтон, зато сожгли Хиросиму.

– Я тоже их не люблю. Народ, который ни разу не сжег свою столицу, не вправе рассчитывать на симпатию.

Они засмеялись, и, пока она смеялась, ему захотелось накрыть ладонью ее длинные смуглые пальцы. Он остановил в себе это желание, почувствовал его остановку как слабый перебой сердца.

К ним подошел хозяин, один из немногих хуацяо, кому новые власти позволили открыть ресторан. Он умело воспользовался дозволением, в его заведении была свежая рыба, отменные мясо и птица. Он с поклоном осведомился, всем ли довольны гости. Отошел в сумерки бара, и оттуда зазвучала негромкая, сладостно-тягучая музыка, которую он включил специально для них, каким-то чудом угадав в спутнице Белосельцева итальянку. Саксофон играл медленный, как густой застывающий сок винограда, блюз Папетти. Под тент залетел, пробежав по стеклянным рюмкам, отблеск молнии. Треснуло, ударило в крыши, и на камни, на асфальт, превращаясь у земли в белую пыль и пар, рухнул ливень, тяжелый, сплошной, горячий, расплющивая прохожих, расшвыривая к стенам велосипедистов.

Играл саксофон, сверкали молнии, шумел ливень.

– Идемте танцевать, – сказал он.

Под тентом было пусто и сумеречно. Танцуя, он чувствовал рукой ее сильную гибкую спину, а грудь – ее выпуклые твердые соски. Черная душистая прядь щекотала его губы, и когда они приближались к шумящему бурному ливню, горячие обильные капли сыпались ему на лицо, а когда удалялись, саксофон сладостно, певуче звучал и она теснее прижималась к нему.

Там, в ливне, в горячем, непроглядном водопаде, среди вскипавших болот и дремучих ядовитых лесов, пролежала железнодорожная насыпь, тянулась ржавая колея, по которой пока- тят платформы с танками, вагоны с пехотой – к границе, где копились войска и зрела, набухала, как опухоль, большая война. Мировые разведки ловили радиоперехваты воюющих в джунглях частей, засылали агентуру в штабы и военные центры. Они, танцующие под мокрым тентом, были разведчиками, нацеленными на липкую насыпь, на ржавую колею. Завтра двинутся к ней, каждый своим путем, преодолевая опасности, выполняя волю пославших их генералов. И быть может, им суждено погибнуть. Желтая пуля вложена в ствол автомата. Клеммы взрывателя в тончайшей масляной пленке дремлют в фугасе. Их фотографии лежат на столе вьетнамской контрразведки. Хозяин ресторана из сумерек снимает их танец на чувствительный «кодак». Но они, беззащитные, окруженные соглядатаями, под прицелом оружия, танцуют медленный, сладостный танец, и ее черная душистая прядь щекочет его вдыхающие губы.

Ему вдруг показалось возможным бросить все, отказаться от задания, выпасть из поля зрения стерегущих наблюдателей, увести эту женщину прочь от ружейных стволов, от прицелов и минных полей, на какой-нибудь коралловый риф с лазурной лагуной, где они, без имени, без прошлого, как первые сотворенные люди, без греха и познания, окажутся на теплой благодатной земле, и она, сотворенная из его ребра, с распущенными, блестящими, как черное стекло, волосами, тянется вверх на гибких носках, достает на ветке золотистый солнечный плод, и он, не подымаясь лениво с земли, видит черный завиток на ее подмышке.

Музыка кончилась. Взявшись за руки, они возвращались к столику, на котором, словно принесенная неведомым ангелом, горела восковая плошка.

– Хорошо, – сказал он, всматриваясь в ее темные глаза, в которых отражались два золотых огонька.

– Хорошо, – повторила она и долго, не мигая, смотрела в его глаза.

Ливень кончился, на улицах текло и блестело. Они возвращались во тьме в отель. Она сняла туфли, и он видел, как бурлит вода вокруг ее босых белых ступней. Под желтым фонарем они остановились.

– Спасибо за вечер, – сказала она. – Было очень хорошо.

– Встретимся в Сиракузах?

– Почему? В Баттамбанге. Думаю, там не много отелей, вы найдете меня. Завтра вечером мы продолжим наше «дольче фар ниенте».

– Если утром мы не увидимся и моя машина уйдет первой, знайте, что ночью мне снился чудный сон и мы продолжали танцевать.

– Мне было хорошо с вами танцевать. – Она сделала шаг босыми ногами, вышла из желтого отражения.

И он понял, что их вечер окончен. Заботы о завтрашнем путешествии разлучили их. Они были еще рядом, вместе, но железная дорога поджидала их каждого порознь, и завтра поутру на разных машинах они станут к ней приближаться.

– Спокойной ночи, – попрощалась она, когда на медленном лифте они поднялись на этаж. Скрылась в дверях, и он смотрел на влажные, высыхающие отпечатки ее босых ног, обрывающиеся у закрытых дверей.

Он вошел в номер, не зажигая огня. В потолке чуть слышно лепетал вентилятор. Сквозь открытую балконную дверь виднелась улица с затихающим, перед комендантским часом, движением. Торговец соками устало толкал по мокрому асфальту тележку с затепленной лампадкой, похожую на алтарь. Напротив, в доме без электричества, зажглись масляные светильники, озаряя внутренность комнат. Мужчина, полуголый, пронес на худой руке светильник, поставил его куда-то ввысь. Женщина кормила грудью ребенка. Другая, в соседнем окне, стелила на пол циновку, подвязывала москитную сетку. И уже катил по улице джип, и солдат, высовываясь с мегафоном, возвещал начало комендантского часа, сдувал последних прохожих, последних

возниц с лампадами, гасил на фасадах окна, будто кто-то невидимый летел над городом, тушил огни.

Ему было печально, тревожно. Предстоящее путешествие сулило опасности. Дурные предчувствия вернулись к нему. Он разделся и голый лег под полог, стараясь не думать, давая своей плоти жить согласно внутренним, наполнявшим ее биениям и ритмам, надеясь, что эти не управляемые разумом ритмы сами приведут к гармонии его внутреннего мира. Но гармонии не было. Биение сердца, кружение крови, слабые мерцания чувств порождали сумеречную печаль, напоминавшую туман, в котором просвечивала безымянная, враждебная ему сущность. Захотелось прикоснуться к чему-то знакомому, родному, спасительному, отогнать туман, увидеть сквозь него какой-нибудь русский пригорок, знакомую колоколенку, неровную, убегающую в гору тропку. Хотелось услышать родную речь, знакомый романс или стих.

Он положил на грудь маленький прохладный транзистор. Включил, пробежал диапазоны, надеясь уловить сквозь хрусты и скрежеты эфира далекий родной напев, подобный тому, что когда-то звучал в деревенской избе. Блестел самовар, пестрели на клеенке рассыпанные тузы и валеты, краснела недопитая рюмочка с ягодкой горькой смородины. И стареющая вдовица, восхищенная, умиленная, среди фикусов, занавесок, иконок, истовым, с каждым куплетом молодящим голосом запевала: «В островах охотник цельный день гуляет...»

Он крутил транзистор, но на грудь ему сыпались колючие вспышки, ударялись чужие голоса и звучания. Повсюду, куда бы он ни кидался, желая пробиться на Родину, встречали его заслоны. Бурливый Китай и Таиланд. Кипящий Гонконг. Клокочущие Сингапур и Малайя. Били в бубны, свистели на флейте, оглушали торопливой, щебечущей речью. Он чувствовал себя в ловушке. Испытал мгновенный душный обморок, словно в потолке выключили вентилятор. Весь эфир был наполнен жалящими пламенеющими язычками, маленькими летающими драконами с красными ртами, цепкими колкими лапками, кольчатými перепончатыми хвостами.

Душная ночь, словно наложили на лицо потный горячий целлофан. Он лежит под марлевым пологом, как в саркофаге из прозрачной кисеи. В потолке с тихим рокотом вращается вентилятор, будто лопасти несут его полог сквозь душную ночь, над крышами спящего города. На улице ни звука, ни огонька, всех слизнул комендантский час. Собран дорожный баул. Играет чуть слышно транзистор. Азиатская музыка напоминает завитки и спирали, непрерывные вьющиеся орнаменты, в которые вписывается его душа, похожая на восточную танцовщицу. И его бессловесная молитва к Кому-то, Кто видит его сейчас в этом темном разгромленном городе, Кто ведает о его судьбе, о стерегущих его опасностях, о затаившихся врагах. В этой молитве – упование на то, что он уцелеет в пути, вернется живым домой. Этот Неведомый, на чьей огромной, белой, как снежное поле, ладони начертана его линия жизни, – мудрей, чем Будда в красных одеждах, сидящий на троне в пагоде, могущественней, чем Пантократор, выложенный византийской мозаикой в куполе гулкого храма. Он не имеет лица и названия. От него доносится в его, Белосельцева, жизнь только дыхание. Ровный выдох, колеблющий крохотное пламя его судьбы. Он молился, чтобы дыхание это длилось дольше, чтобы пламя его судьбы не погасло. И ему казалось, что за стеной, под таким же пологом, не спит молодая женщина, молит о том же самом.

Глава третья

Генерал-отставник Белосельцев перемещался с конопляным веником по квартире, подметал пыль, вылавливая под столом и под креслом ее серые, легкие перья, забрасывая их в жестяной совочек. Пыли было много, она набиралась за ночь после очередной уборки и состояла из тополиного пуха, крохотных известковых крупиц, опавших с потолка, бумажных чешуек, отслоившихся от книг и обоев, разноцветных шерстинок ковра и еще из неведомого невесомого вещества его испепеленных мыслей и снов, из дыма его прожитой жизни, которую он сметал метелкой в жестяной совочек. Он гонялся за этим домашним перекаати-полем, стараясь захватить веничком легкий, воздушный ком серого праха.

В прихожей раздался звонок, длинный, бодрый, настойчивый. Так звонят почтальоны, доставляющие телеграмму, и он поспешил к дверям, гадая, откуда, из какого несуществующего мира могло явиться послание.

Открыл дверь, на пороге стояла она. На ней была лиловая легкая блузка и белая полотняная юбка. Волосы, которые в прошлый раз были распущены, как у русалки, теперь были расчесаны на строгий прямой пробор, сплетены в две косы с аккуратными, наивно-трогательными бантами. В руках у нее был большой букет цветов, из-за которого смотрели серо-зеленые, прозрачные глаза, улыбались розовые, свежие губы.

– Я пришла, – сказала она, ступая через порог, занимая в коридоре пространство, которое он торопливо и охотно освободил для нее. – Пришла поблагодарить... Вы мой спаситель... Это вам! – Она протянула букет, состоящий из розовых флоксов, фиолетовых люпинов, огромных бело-желтых ромашек и синих, с золотой сердцевинкой колокольчиков. – Вчера я ушла не простившись. Вы спали, я не хотела вас тревожить.

Она говорила просто, с легкой застенчивостью, еще не зная, как он отнесется к ее появлению, надеясь на его расположение. Эта наивная доверчивость, аккуратные косы с бантами, строгий прямой пробор и букет цветов делали ее похожей на ученицу старших классов, ничем не напоминали вчерашнюю, с размазанной помадой девушку, мокрую от пьяных слез.

– Проходите. – Он принял букет, пропуская ее в гостиную. Достал с полки тяжелую хрустальную вазу, полную пыльного солнца. Наполнил в ванной водой. Сунул в солнечный водяной пузырь обрубленные зеленые стебли, распушил букет и внес в гостиную, чувствуя, как ромашка щекочет подбородок, как выплеснулся из вазы, ударился о пол шлепок воды.

– И это я хотела вернуть. – Она протянула ему носовой платок, которым он вчера вытирал ее расплывшийся грим, окунал в фонтан, омывал помаду и слезы.

Платок был выстиран, выглажен, аккуратно сложен. От него чуть слышно веяло духами.

– Можно я сяду? – Не дожидаясь ответа, она села в кресло, и он увидел ее загорелые ноги, белые легкие туфельки.

Смутился, поймав в себе этот быстрый, веселый взгляд.

– Я хочу объяснить вчерашнюю дикую сцену. Эти два балбеса мне не знакомы. Я вчера была в ужасном настроении. Меня не приняли в университет. В великой печали я купила джинс с тоником. Эти балбесы попались, принялись меня утешать. Вы видели, чем это утешение кончилось. – Она отчитывалась перед ним, давала объяснение случившемуся, и это разволновало его.

Значит, она, явившись к нему, продолжала нуждаться в нем. Вчерашнее знакомство, начавшееся с безобразной сцены, по ее мнению, нуждалось в продолжении. Он не мог понять двигавших ею побуждений, и это беспокоило его и радостно волновало.

– Меня зовут Даша. А вас? – спросила она, продолжая быть главной, ведущей в этих хрупких, невнятных продолжавшихся отношениях.

– Виктор Андреевич, – сказал Белосельцев и подумал, что она из кресла протянет ему свою загорелую руку, и он должен то ли пожать ее, то ли поцеловать.

Но она сидела, оглядывая комнату, и ее зеленые, солнечно-водянистые глаза были того же цвета, что и хрустальная ваза с букетом.

– Вы мне вчера зашили платье, и так хорошо, что мама ничего не заметила. Во всех отношениях я у вас в долгу. Может быть, вы спасли мне жизнь или честь. Приютили меня. Починили мой поврежденный наряд. Хотите, я вам вымою полы и окна? Или постираю белье?

– Не теперь, – засмеялся он, взглянув на свои запыленные стекла в высохших потеках дождя, за которыми рокотал металлический блестящий водопад машин. – Накануне какого-нибудь праздника я вас приглашу, и вы мне поможете.

Она кивнула, принимая всерьез его предложение. Задумалась, словно вспоминала ближайший праздник.

– Какой у вас интересный дом, Виктор Андреевич. – Она оглядывала стены, и банты на ее светлых косах трогательно шевелились. – Настоящий музей. Вы – ученый, коллекционер, научный работник?

У него было странное ощущение – она явилась к нему, уселась в кресло и оттуда, не поднимаясь, захватывает все больше и больше пространства в его доме. Букет в хрустальной вазе принадлежал ей. Стол, на котором стояла ваза и к которому свешивалась белая ромашка, был ее столом. Пол, на котором высохла маленькая лужа воды, упавшей из вазы, и которого касались ее легкие светлые туфельки, был тоже ее. Занимая кресло, обводя своими любопытными веселыми глазами гостиную, она захватывала все больше и больше территории, и он отдавал ей эту территорию без боя, радостно отступая.

– Что это за чудовище? Смотрит на меня так враждебно, словно хочет прогнать! – Она показывала на африканскую маску из черного дерева, инкрустированную кусочками перламутра и красной медью, которую он привез из Нигерии, купив ее на шумном, горячем рынке Ибадана. Блестящие от пота, словно натертые черной ртутью, торговцы раскатывали по прилавкам светящиеся сине-желтые ткани, выставляли глиняные, похожие на женские бедра сосуды, заманивали покупателей под навесы, где толпились вырезанные из эбенового дерева статуэтки, возвышались бронзовые идола, висели толстогубые, с огромными глазами ритуальные маски, и он выбрал одну, тяжелую, словно налитую свинцом, нес ее, завернутую в черно-золотую ткань.

Белосельцев рассказал ей о происхождении маски, о нигерийских джунглях на границе с Заиром, в которые проливались раскаленные, как кипяток, дожди, и он скользил в красной горячей грязи, из которой, пузырясь и захлебываясь, вылезали жирные кольчатые черви, и в сачке его трепетала красная африканская бабочка. Он рассказал ей об этом, умолчав о пушках французских ракет с заирского полигона – белая, как горящий магний, звезда летит над деревьями в бледное небо, и он, разведчик, включая хронометр, определяет момент отсечки двигателя.

– Вы так интересно рассказываете, Виктор Андреевич. Как будто книгу приключений читаете! – с изумлением сказала она, успокоенно и удовлетворенно оглядывая маску. И он видел, что маска перешла в ее ведение, стала подвластна ей, сменила подданство. И это радовало и умиляло его. – А этот медный крест, похожий на кружево? Никогда не видела таких крестов!

Он рассказал ей об эфиопском кресте, напоминавшем лист папоротника. Мастера, с фарфоровыми выпуклыми белками, с курчавыми бородками, орудовали крохотными зубильцами, выколачивая из меди дырчатый, сквозной, пернатый крест, оглашая окрестность непрерывными звонкими стуками. Коптский монастырь Лалибелла был высечен в красноватой горе, сухой и прохладный, с изображением ангелов и святых, таких же чернолицых и глазастых, как прихожане. Он смотрел, как стекленеет, струится воздух над горячими плитами сланца, под которыми испарялись тела мертвецов. Лагерь, обнесенный колючей проволокой, казался

огромной, затмевающей солнце тучей, в которой изнывали от голода полуголые, библейского вида люди. Он не пугал ее рассказом о голоде, о боях в Эритрее, когда корабль из бортовых орудий стрелял по эритрейской пехоте и он, разведчик, на палубе в сильный бинокль смотрел, как качается на холмах дым от разрывов и над мачтами в блеске пропеллеров пролетел «орион».

Она внимательно, как прилежная ученица, выслушала рассказ о кресте, милостиво принимая его в свое подданство, расширяя свои владения.

– А эта стеклянная ваза, похожая на голубой леденец, откуда она? Ее хочется лизнуть. Наверное, сладкая! – Она указывала на зелено-голубую гератскую вазу, перевитую нитями и слюдяными струйками застывшего стекла, извлеченную из тигля стеклодува. Мастер-пуштун блестел, отекал горячей росой, сам был стеклянный. Держал на длинном черенке малиновый цветок остывающей вазы, которая тускнела и гасла, наливалась таинственным бирюзово-зеленым светом. Он рассказал ей о рецептах изготовления гератского стекла, о золотисто-глинобитном городе, увитом розами, из которых в каменное зеленое небо подымались кривые минареты, и женщины, укутанные в разноцветные накидки, казались лилиями, расцветшими среди гончарных дувалов. Он не сказал ей об ударе вертолетов по старым мазарам, о прочесывании Деванчи и подрыве танка, о полевом лазарете, куда вносили сержанта с осколком в желудке. Санинструктор держал над раненым стеклянную капельницу, в которой мерцало маленькое злое солнце Герата.

Синяя гератская ваза, похожая на стеклянный бутон, перешла в ее подданство, пополнила фетиши, которыми она обставляла границы своих владений.

– Вы столько путешествовали, Виктор Андреевич. Вам нужно написать книгу. Вы можете мне диктовать, а я стану записывать. Могла бы получиться прекрасная книга.

Его поразил ее неподдельный настойчивый интерес не только к историям, но и к нему самому, с кем эти истории случались. В ее зелено-серых прозрачных глазах было любопытство, внимание и нечто еще, что могло быть истолковано как сострадание к его одиночеству и невысказанности, которые она угадала. Он действительно был одинок, действительно никто уже долгие годы не расспрашивал его, не интересовался его жизнью, его суждениями. Агентурные донесения, аналитические записки и справки, которые он прилежно направлял в разведку с полей сражений, устарели, ненужным хламом желтели в архивах. И не было человека, которому был важен он, состарившийся военный разведчик, накопивший, помимо сводок, огромный мучительный опыт пребывания в мире, где еще недавно существовала его страна, одерживала победы его армия, а теперь, одинокий мыслитель, без страны и армии, он искал в себе силы достойно уйти. Не оскорбить своим уходом природу, память дорогих благородных, достойно ушедших людей и Того, Кто всю жизнь внимательно за ним наблюдал в минуты грехов и падений, в часы откровений и взлетов.

– Могла бы получиться интересная книга, – повторила она.

Могла бы получиться, конечно. Она приходила бы каждое утро, аккуратная, приветливая и прилежная. Садилась за стол, где ждала ее стопка белых листов, поднимала на него глаза, прозрачные, как пронизанная солнцем зеленая вода. И он, подхватывая в памяти вчерашнюю фразу, длинную, упавшую, как лиана, диктовал ей. Как шли они песками в пустыне Регистан, в малиновом пекле, сквозь которое солнце казалось хвостатым крестом и пустые колодцы были трубами в ад, откуда извергался душный угар. Прапорщик умер от теплового удара, лежал на вершине бархана с красным, покрытым волдырями лицом, и на его скрюченной черной руке висели бирюзовые четки.

Он мог бы ей диктовать, и через год получилась бы книга, которую он наговорил, глядя в ее зеленые, удивительного цвета глаза.

– Я поступала на исторический факультет и провалилась, – сказала она, будто угадала его мысль. Направила на него светящийся изумрудный взгляд, которого он вдруг испугался. –

Вы бы могли быть моим репетитором. С вашей помощью я одолею курс всемирной истории и на следующий год поступлю.

Отчего бы и нет. Она приходит к нему в зимней шубке, в теплой пушистой шапочке. На волосах нарастающий снег. Шубка наполнена душистым теплом. Садятся в кабинете. В солнечно-синем морозном окне все заткано льдистыми листьями. Он читает ей главы всемирной истории, выискивая их в своих путешествиях. Пролив Дарданеллы, по которому идет корабль, пробираясь к средиземноморской эскадре. Пологий зеленый холм, накрытый шатром лучей. Троя, где мчались легкие боевые двуколки и в пыли, обиваясь о камни, волочило мертвое тело, герой подымал к небесам медный трофейный шлем. А теперь буруны катятся за кормой корабля, и он, прислонившись к орудию, смотрит на пологий, поросший травой холм.

Кампучийские джунгли, прозрачные, в бледном солнце. На рукав к нему прыгнул маленький розоватый кузнечик. Вокруг подымаются пустоглазые будды Байона. Из каменных глазниц вырастает трава, лиана бежит по щеке. Город, пропавший в лесах, схоронивший в древесных корнях могилы древних царей, золотые сосуды капищ. И он, утомленный, избегнув смерти, переживший безумие, тронул осторожной ладонью каменный шершавый узор.

Он расскажет ей о своих путешествиях среди мечетей, пирамид и буддийских пагод, разворачивая старинные свитки учений, хроники древних царств, над которыми пролетал его боевой вертолет, сквозь которые проходил изнуренный отряд спецназа. Подложив под локоть шитую серебром подушку, она внимает ему, прилежная ученица, желанная гостья.

– Благодарю за букет, – сказал он. – Настоящий летний букет.

– Мой приход помешал вам? Вы заняты? Вам надо работать?

– Никакой работы, – ответил он, поглядывая на конопляный веничек, которым он только что извлекал из-под кресла унылую серую пыль, прах своей прожитой жизни. – Вся моя работа давно исполнена. Отдыхаю дома с утра до вечера.

– Тогда пойдемте на улицу. Лето, Москва, духота. Покатаемся на речном трамвайчике по Москве-реке!

Со своими косами, бантами, наивным простодушием и весельем она была похожа на школьницу. Ее предложение покататься на речном трамвайчике было из школьных, детских желаний. Ему вдруг стало смешно и весело. Захотелось проехаться с ней на трамвайчике, ощутить давнишнюю наивную радость. И, удивляясь своему легкомыслию, он согласился.

На метро они доехали до Фрунзенской набережной, где находился причал и куда с двух разных сторон – от далеких кудряво-зеленых Воробьевых гор и от туманных, в золотом зареве кремлевских куполов – причаливали речные кораблики, с музыкой, с пассажирами на палубах, среди которых было много детей и иностранных туристов. Загорелые юнги набрасывали на крюки швартовые канаты, кассирша выдавала билеты, и кораблики, раскручивая за кормой белые буруны, неторопливо ползли по сверкающей летней реке, похожие на жуков-плавунцов.

– В последний раз плавал на трамвайчике полвека назад. Бабушка меня катала, – сказал Белосельцев, когда они по трапу перешли на кораблик и уселись на верхней палубе под тентом. – Не понимаю, почему я так легко уступил вам. – Он и в самом деле не понимал, почему пошел на поводу ее прихоти. Она, веселая, милая, забавлялась им, унылым пожилым генералом, словно обвязала вокруг его худой шеи шелковую ленточку и повела за собой. И он послушно пошел, околдованный солнцем, букетом, школьными бантами, загорелыми легкими ногами и прозрачными, как зеленый солнечный пруд, глазами. Нелепость этого не пугала его, а удивляла, смешила. Послушно, слабо усмехаясь, он потакал ее прихотям. – Такое чувство, что я превратился в ребенка, – говорил он, глядя, как удаляется гранитная набережная и на ней темным бруском, с лепными знаменами, пушками, танками, высится штаб сухопутных войск, не грозный, не военный, не настоящий, а поставленный здесь для обозрения пассажиров, плывущих на речном трамвайчике под легкомысленные эстрадные песенки.

– Вы и есть ребенок. А я ваша бабушка. Можете меня так называть. – Она засмеялась, и ему показалось, кто-то брызнул ему в глаза солнечной водой.

Кораблик плыл мимо Парка культуры, белой беседки, разноцветных, размалеванных аттракционов, среди которых крутились и изгибались «американские горы», ввинчивались в петли и виражи летательные аппараты, рушились в водопады, проносились по горным опасным рекам зыбкие каноэ, мотались огромные, как летающая платформа, качели, готовые оторваться от своих разукрашенных столбов и упасть на середину реки.

– Чего доброго, вы меня и в Парк культуры поведете, посадите на карусель, – сказал Белосельцев.

– И пойдете и покатаетесь, – мнимо строго сказала она. – Мальчик должен быть смелым, должен ничего не бояться.

Он принял ее игру. Решил уступать ей во всем. Боялся не угадать ее настроения, не последовать за ее необременительным милым капризом. Боялся неосторожно спугнуть, настроить и обидеть.

То необычное, непредвиденное, что случилось с ним, продолжало совершаться среди солнечных блесков, мелькания чаек, пролетевшей по воде длинной лодки с загорелыми гребцами, было не в его власти, не им задумано. Он сам был частью этого забавного веселого замысла и не хотел быть ему помехой.

Крымский мост косо надвинулся, заслонил небо серой сталью, тугими связками, фермами, множеством напряженных заклепок. Его тень легла на реку. По нему гудел невидимый многотонный поток машин. В подбрюшье, подвешенные, с берега на берег тянулись трубы, жгуты кабеля, косматая изоляция и оплетка. Белосельцеву показалось, что он заглянул под стальной подол, увидел исподнее, скрытое от глаз, железное бельё. Мост прошумел, открывая солнце, синее небо, вспышки автомобильных стекол.

Удалялся, легкий, звонкий, как серебряная, с натянутыми струнами арфа.

– Мне кажется, вы похожи на этот мост, – серьезно сказала она. – Внешне такой точный, изящный, привлекательный. А на самом деле усталый, обремененный, несете на себе тяжелый груз. И никто не скажет вам: «Бедненький, отдохните! Не будьте больше мостом, станьте лодочкой!»

Эти слова поразили его состраданием. Она угадала в нем его нелепый стоицизм и усталость. Его встроенность в берега. Невозможность изменить свою форму, длину и конструкцию. Была поразительна ее прозорливость. Он был прозрачен для нее. Почти девочка, знающая его всего несколько недолгих часов, она угадала его. И следовало то ли испугаться этого, укрыться, как улитка, в непроницаемый завиток ракушки, то ли благодарно открыться ей, рассчитывая на ее милосердие и доброту.

Они проплывали мимо памятника Петру, огромного, но не величественного, пустого внутри, похожего на грозный рыцарский доспех без рыцаря. Хотелось кинуть в него камушек, чтобы услышать звук кровельного железа. Памятник, прежде вызывавший у Белосельцева раздражение, казавшийся чужим, навязанным Москве, теперь нравился ему. Был интересным, забавным, похожим на аттракцион. В него можно было залезть. Посидеть внутри его глазного яблока. Послушать, как шумит в нем, словно в огромной самоварной трубе, ветер. Как гулко гудит в нем вода, словно в водостоке. Петр стоял, придавив ногами крыши Зимнего дворца, Адмиралтейства, Петропавловской крепости. Все эти раздавленные Петром здания размещались на борту ботика, а сам этот ботик, оторванный от воды, был поднят на Ростральную колонну, из которой торчали другие, подобные ботики, и все это обильно поливалось струями декоративного фонтана. Символы, которые были заложены в монумент, были скомканы, смещены и расплющены, соединены в причудливую веселую смесь. Но в этой эклектике была своя правда. Время, в котором сооружался памятник, было полной противоположностью тому, в котором действовал император. Памятник стоял среди жалких остатков империи, потерявшей

треть территории, выходы к морям, флот и армию, и скульптор, хитрый грузин, создал талантливую карикатуру, мнимую огромность бутафорского памятника. Именно это успел заметить и понять Белосельцев, проплывая мимо Петра.

– Посмотрите, на носу петровского ботика сидит золотая птица! – радостно воскликнула Даша, трогая его за рукав. И это невольное прикосновение было еще одним малым знаком их сближения. Рассматривая крохотного золоченого орла, усевшегося на бушприт ботика, и золотой свиток в руках императора, и аккуратные выкованные из бронзы жерла бортовых орудий, Белосельцев был благодарен скульптору, не за памятник, а за ее радостный возглас, за ее быстрое невольное прикосновение.

Памятник удалялся, медленно разворачиваясь на оси, как огромный флюгер. Сливался с туманным городом, с его трубами, мостами и башнями.

– Посмотрите, словно солнце восходит! – Она тянулась через перила и на секунду приобрела трогательное сходство с птицей, готовой вспорхнуть с ветки.

Из-за деревьев, как огромное лучезарное светило, выкатывался золотой купол храма Христа Спасителя. Следом за ним – другие купола, поменьше, как золотые планеты. И весь бело-мраморный, невесомый, парящий, источающий радостные золотые лучи, возник собор, как диво, опустившееся посреди Москвы. Улетал на полвека, странствовал среди необъятных просторов Вселенной и вновь вернулся в свой Град, спасая его от пороков, содомского греха, безумной гордыни. Как огромный белый голубь с золотым хохолком. Посланец Творца, прилетевший из небесной лазури.

Трамвайчик плыл по золотым отражениям. Белосельцев хотел запомнить ее мимолетное сходство с птицей, золоченые плески реки среди зеленого, белого, синего.

– Хочу креститься в этом соборе, – задумчиво сказала она. – Вы не знаете, Патриарх совершает крещение?

Он не знал. Он представил ее там, внутри, среди столпов и сводов собора. Не крещение ее, а венчание, среди свечей, песнопений, шитых золотом риз. Она, в белом платье, стоит с молодым женихом. Кто-то держит над ними жестяные короны, ведет по кругу среди мерцающих мягких огней. А он, старик, смотрит на них из сумерек, бессловесно желает блага.

И вот уже нет собора, а кто-то поставил на берег огромное, из серых кубов, строение. «Дом на набережной». Он смотрел, как надвигается белесо-серая, в солнце громада, похожая на тучу, и под ней драгоценно, словно фарфоровая чашечка, пестреет церквушка, наивная, как цветочек под колесами асфальтового катка. И хотелось бережно, двумя ладонями, вычерпать ее из-под серого монолита, перенести подальше от угрюмой громады.

– Когда я смотрю на этот дом, мне всегда становится скучно, – сказала она. – Как в детстве, перед началом болезни. – Она вглядывалась в здание, и ему показалось, что она слегка побледнела, будто дом, проплывая, успел выпить из ее щек и губ румяную свежесть, а ее зеленые глаза потухли, словно солнце зашло за тучу. – Бывают скучные люди, дома, деревья. Как тени чего-то исчезнувшего... Вы – не скучный! – спохватилась она, испугавшись, что могла его неосторожно обидеть. – Вы очень живой, интересный!.. Вы мой спаситель!.. – Она протянула руку, словно хотела поблагодарить его прикосновением, но не решилась, положила розовую кисть на поручень. Он смотрел, как на белом поручне лежат ее розовые пальцы и за ними по реке, словно на ниточке, плывет маленький легкий челнок.

И вот среди блеска реки, сияющих синих небес, как чей-то молодой, восхитительный лик, возник Кремль. Алое, белое, золотое. Среди древесных куп, травяных холмов. Красные остроконечные башни. Солнечные, осыпанные крестами купола. Белокаменные соборы и колокольни. Нарядный, во всю ширь дворец с кружевными наличниками и мерцающими драгоценными стеклами. Возникло такое чувство, будто вынырнул из-под воды и сделал огромный, спасительный, во всю грудь, вдох, от которого – жизнь, свет, радость. Белосельцев тянулся к Кремлю, чувствуя, как летят к нему светоносные ликующие энергии и он, попадая в пятна

горячего, алого света, в золотые лучи, в белую, снежную прохладу, становился моложе, крепче, веселей. Кто-то бережно коснулся его глаз легкими золотыми перстами, и от этого зорче стали глаза, умевшие теперь разглядеть тропку на склоне холма по ту сторону зубчатой стены, древнюю надпись на кольце под куполом Ивана Великого, голубя с голубицей в крестах Покровского собора, вмятины на Успенском куполе, похожем на огромное золотое яблоко. Кто-то обнял его крепким богатырским объятием, его мускулы стали крепче, обретая молодую гибкость и свежесть, и ему казалось, что он встал вровень с белокаменным столпом колокольни, чувствуя у виска ее округлый сияющий шлем. Кто-то дохнул на него свежим дыханием, и в щеки хлынул молодой свежий жар. Дышалось вольно, сильно. Словно здесь, на реке, у Кремля, с ним случилось чудо омоложения. Как сказочный Иван, изнуренный в странствиях, изможденный в битвах, он нырял из котла в котел, из прозрачной воды в красное вино, из красного бурлящего вина в студеное молоко, становился молодым, румяным и бодрым.

– Как я его люблю!.. Какой он наш, русский!.. – сказала она, и он увидел, что она испытывает те же чувства, дышит, как и он, той же радостью, красотой.

Казалось, плывет не трамвайчик, а Кремль – огромный, алый, с зубчатыми бортами корабль, с белоснежной мачтой Ивана Великого, с округлыми парусами соборов, с золотыми стягами прозрачных крестов. И они оба взяты в этот ковчег, плывут, не касаясь воды, возносятся в сияющую синюю высь.

Кремль канул, как видение, оставив после себя розовое зарево. И открылась металлически-черная брусчатка, и на взгорье – Василий Блаженный. Бутоны, резные узорные листья, сочные, сквозь колючие стебли, соцветья.

– Посмотрите, словно букет! – воскликнула она, оборачивая к нему восхищенное лицо. Он увидел, как взлетели ее светлые брови и расширились прозрачно-зеленые глаза. «Ты сама как букет!» – хотел он сказать, любуясь этим моментальным выражением восторга. Никогда он не видел храм с реки. Отсюда, с воды, он и впрямь был похож на букет, поставленный в черную хрустальную вазу, из которой возвышались разноцветные мохнатые головы, не вянущие и под снегом – московская метель шлифует брусчатку, красно-зеленые, усыпанные снегом главы, шатры и кресты, огненные и живые, среди русской зимы. Это она вывела его из дома, как выводят послушных слепцов. Повела, как поводырь, по Москве. Посадила на белое суденышко, и их повлекло по блестящей воде. К берегу на огромных подносах выносят соборы и храмы, дворцы и зубчатые стены, словно предлагают полюбоваться, насмотреться, а потом уносят. И она хочет узнать, любит ли он Москву, ту, которую она ему показывает. Да, он любит.

Он плыл по Москве-реке спустя вечность с тех пор, как бабушка, сжимая его детскую руку, провела по шаткому трапу. Он плавал по желто-латунному Меконгу, по шоколадному Нигеру, по мутной и горячей Лимпопо, по голубой, как шелк, Амазонке. Видел храмы, мечети и пагоды. Видел взрывы и горящие джунгли. Мимо, брюхом вверх, сносило рыжий труп крокодила. В простреленном каноэ лежал убитый индеец. И теперь он плывет по родной, чудесной реке, чей берег и мягкий изгиб повторен кремлевской стеной, и старинный дворец желтеет сквозь зелень садов, и темный мост прошумел, гулко играя железную бессловесную музыку, и она, его спутница, хочет убедиться, хорошо ли ему. Да, ему хорошо.

Они доплыли до Новоспасского моста. По одну сторону на горе стоял монастырь, старинные кирпичные стены, башня с тесовым шатром, высокая, с царской короной, желтая колокольня, собор с куполами, среди которых один, позолоченный, мятый и сморщенный, был похож на высыхающий плод. На другой стороне реки, из зеркального стекла и металла, облицованное розовым камнем, повторяя монастырь силуэтом башен и стен, магических пирамид и шатров, высилось новое здание, драгоценное, как кристалл. Мост соединял их, касаясь железными пальцами старинных монастырских бойниц и хрустальных окон дворца. Москва кругом высила свои небоскребы, тянула вверх колокольни и трубы, мерцала, туманилась, и казалось, летит над ней, среди облаков и лучей, высокий солнечный ангел.

Они сошли на берег, отыскивали маленький ресторанчик вблизи Таганки, на крутом спуске к реке. Устроились в тесной кабинке с фарфоровыми немецкими блюдами на стенах. Им принесли на горячих тарелках пылающий, смуглый, еще шипящий стейк, гору душистого летнего салата, две холодные, запотелые кружки с золотистым немецким пивом. Он смотрел, как схватила она руками сочный зеленый лист, сунула в рот, захрустела белым влажным стеблем. И уже высматривала алую, разрезанную надвое помидорину. Озирала голодными радостными глазами вкусное мясо, толстое ледяное стекло кружки.

– Уж вы простите, что заказал баварское пиво, а не джин с тоником, – усмехнулся он, поддразнивая ее. – Еще не совсем изучил ваши пристрастия.

– Да нет, пиво в такую жару – это чудесно! Джин с тоником в прошлый раз меня очень подвел. Но если бы не джин, мы бы с вами не познакомились, правда?

– Ну просто какой-то напиток знакомств, а не джин! – продолжал он подшучивать.

– Хорошо купить баночку джина и сидеть на бульваре. Попивать глоточками, смотреть на прохожих. Все тебе начинает нравиться, все печали проходят.

– Действительно, когда мы познакомились, все ваши печали были уже далеко. И прохожие, те, что вам приглянулись, вели себя очень мило.

– Мне страшно неловко! – сказала она серьезно, но глаза ее продолжали смеяться. – Еще раз прошу у вас извинения. Вы поступили как рыцарь. Вы мой спаситель. Я у вас в вечном долгу. Даю обет служить вам верой и правдой. – Она подцепила тяжелую кружку, ее розовые пальцы обхватили толстую стеклянную ручку. Она подняла кружку, в которой все еще текли мельчайшие пузырьки и воздушные струйки превращались в белую сочную пену, покрывавшую золотой напиток белой округлой шапкой. – Выпьем за наше знакомство, за сегодняшнее путешествие!

Он протянул к ней кружку, они чокнулись толстым, звякнувшим стеклом. Он с наслаждением погрузил губы в душистую пену, медленно процеживая ее сквозь зубы, добираясь до первого холодного, обжигающе-горького глотка. Видел, как она, закрыв глаза, пьет и ее розовые губы тонут в пенной гуще.

– Со мной действительно что-то случилось. Провалилась в университет, страшно устала. Такая была тоска, что жить не хотелось. Эти два шута гороховых подвернулись. Не все ли равно, броситься в реку или с этими дурнями пить на бульваре джин. Мама говорит, что я ненормальная. Подвержена приступам безумия. Что это меня погубит.

– Вы молодая, красивая. Поступите в университет. Обвенчаетесь у Патриарха в храме Христа Спасителя. У вас будет трое детей. Вы поведете их кататься на речном трамвайчике. И когда будете проплывать Василия Блаженного, вспомните букет. Тот, что вы мне подарили и что стоит сейчас у меня на столе.

– Вы так думаете? Вы умеете угадывать будущее? Вы желаете мне счастья?

– Уж поверьте. Я старый колдун.

Они пили пиво, поглядывая друг на друга сквозь толстое полупрозрачное стекло, в котором качался золотой напиток с узкой полоской пены. Бар вдалеке мерцал цветными бутылками, подвешенными за тонкие ножки рюмками, хромированными кранами, разукрашенным фарфором. Бармен казался стеклодувом, осторожно выдувал прозрачные перламутровые пузыри, бережно развешивал среди хрупкого блеска, драгоценного мерцания. И ему вдруг показалось, что он уже однажды сидел в этом баре, смотрел на молодую прелестную женщину. Она говорила что-то необязательное, милое, и бармен сквозь стеклянный блеск издали, деликатно наблюдал за ними.

– Вы спасли меня не только от этих пьяниц. От чего-то еще. От меня самой. – Она опять вернулась к истокам, к тому, что их познакомило. Ей хотелось бегло, мельком упомянуть об этом и поскорее, стыдливо забыть, как о чем-то случайном, ненужном. Видимо, эти два дня она думала о случившемся, искала ему объяснение. Случившееся поразило ее, побуждало раз-

мышлять, рассуждать. – На меня вдруг накатывает. Что-то начинает дуть, холодное, черное, из-под самого сердца. Будто сдвигают чугунную крышку, открывается подземный люк и оттуда кто-то воет, тянет руки, затаскивает меня под землю, в сырость, в железную тьму. Так было в детстве, так иногда и теперь. Наверное, это смерть.

– Молодая душа еще находится близко к своему рождению, к небытию. Оно окликает, зовет. В бреду, в болезнях, во сне. А потом душа пускается в долгое странствие и забывает о смерти. Лишь в старости они снова встречаются. Но эта встреча проходит иначе. – Он сказал и усмехнулся своему глубокомыслию. Тону всеведения, до которого было ему далеко. Он, проживший долгую жизнь, был в неведении о концах и началах. И лишь ее вопрошающее молодое лицо побудило его сыграть мудреца. Плохо и ничемно сыграть.

– Вы мудрый, много пережили, все знаете. Я буду учиться у вас, – сказала она, не заметив его неудачной игры.

– Я всю эту неделю собирался уехать на дачу. Но что-то задерживало. Не понимал что. Лень, жара, какое-то оцепенение. Не мог спуститься, завести машину. Оказывается, это я вас подждал. Услышал, что вы приближаетесь, спустился на бульвар, и встреча наша состоялась. – Он опять поймал себя на мнимом глубокомыслии, желчно и зло съязвил в свой адрес. На минуту почувствовал себя несвободным, огромную разницу лет, их разделявших, неуместность, ненужность их встречи. Но она опять ничего не заметила. Обдумывала его слова, услышала в них нечто важное для себя и понятное.

– Когда я стала надевать платье, с ужасом думая, как я в нем, драном, пойду, я вдруг увидела, что вы его зашили. Это меня тронуло, изумило. Так мог поступить мой отец. Но я его едва помню, он ушел от нас и больше не появлялся. Так мог поступить мой дедушка. Но он умер два года назад. Я подошла к вашему кабинету, увидела, что вы дремлете, смотрела на вас и думала, что обязательно к вам приду и скажу, как вам благодарна. За вашу помощь, за то, как мыли меня в фонтане, как вытирали мне слезы и нос. За ваш замечательный мягкий халат. За вашу цветную прохладную простыню. За вашу уютную постель, где я чувствовала себя в покое и безопасности. Я ваша вечная должница!

– Вы расплатились со мной. Сегодняшняя прогулка великолепна!

Они пили пиво, а потом резали ножами мягкое, душистое мясо, смугло-коричневое, глазированное снаружи, розовое, нежное внутри. Ему нравилось, как она ест – ее молодой аппетит, молодые блестящие зубы, влажные от мясного сока, сочные губы.

– Я всего раз была в настоящем большом ресторане. У мамы был поклонник, какой-то художник. Мама устраивает выставки, помогает художникам, и они вечно вьются вокруг нее. С помощью мамы этот художник продал картину, повел нас в ресторан «Метрополь». Там такой великолепный фонтан, белоснежные скатерти, разноцветный купол, словно огромная солнечная люстра. Официанты, в малиновых фраках, с перекинутыми через локоть салфетками, стараются угадать твое малейшее желание. Шампанское в серебряном ведре со льдом. Бульон из королевских креветок, розовый, с золотыми колечками масла. Я стала хватать креветок руками, забрызгала художнику бархатную блузу. Мама ужасно возмущалась, а официант стоял рядом и смеялся одними глазами!

Она расхохоталась, вспоминая, как выхватывала из бульона усатую, с поджатым хвостом креветку, брызгала ею на белые кружева и бархат старомодно одетого художника и молодой официант, мнимо ужасаясь, спеша на помощь с салфеткой, подмигнул ей синим смеющимся глазом.

– А вы? Где ваша семья? Ваша жена, ваши дети?

– Пока что нет никого, – усмехнулся он. – «Наши жены – пушки заряжены!.. Наши детки – штык да пули метки!..»

– Понимаю, вы – старый воин! – сочувственно сказала она. – Сражения, битвы!.. Где уж тут семейный уют!

Они осторожно, неторопливо узнавали друг друга. Они узнали уже очень много – вчерашняя сцена на бульваре и драка с двумя молодцами. Следовавшая за ней «сцена у фонтана», как мысленно он ее называл, ее расплывшаяся помада и плачущий скошенный рот. Гостиная, где она улеглась под его прохладную голубую простыню. Лежащее у него на коленях разорванное платье, излучающее аромат и тепло, и он бережно поддевал цветастый лоскут блестящей иглой. Ее утренний букет на столе, расспросы об африканской маске, о медном эфиопском кресте, о синей гератской вазе. И эта восхитительная прогулка по реке, розовое зарево Кремля, белый Иван Великий с черно-золотыми буквами под сияющим куполом, промелькнувшая у гранитной набережной желтая кувшинка, пролетевшая над водой маленькая темная уточка. Все это было связано с узнаванием друг друга. Казалось, кто-то расстелил перед ними большую контурную карту с линиями безымянных рек, точками неведомых городов, разветвлениями дорог. И они неторопливо давали всему названия, закрашивали бесцветную карту алым, зеленым и синим.

– Я очень огорчена тем, что провалилась на экзамене. Много занималась, читала, но этого оказалось мало. Мама сказала, что без репетитора никто не поступает. Но у нас не было денег на репетитора, на вознаграждение. Я буду второй раз поступать. Вы станете моим репетитором? Ведь вы историк, путешественник.

– Все мои истории запутаны. Как клубок с цветными нитками. Надо их сначала распутать.

– Давайте вместе распутывать. Один день – красненькую ниточку. Другой – синенькую. Третий – желтенькую. Так и разматываем клубочек.

– «Тысяча и одна ночь», да и только!

Они смеялись. Она продолжала поедать свой стейк, поливая его острым соусом. Его умиляло то, как орудует она ножом и вилок, как выдавливает пряную оранжевую струю соуса, как оттирает губы салфеткой. Поймал себя на мысли, что так родители смотрят на детей, уплетающих с аппетитом еду.

– Вы мне начали говорить про Герат, про афганское голубое стекло. Герат – красивый город? Чем он особенно интересен?

– Герат – старинный афганский город, – начал он назидательным скучным голосом, изображая педантичного учителя истории. – В Герате есть несколько мусульманских святынь. Там сохранилась крепость, построенная Александром Македонским.

Горячая бело-рыжая крепость из седого песчаника, с башнями, переходами, стенами. По шершавым ступеням под прохладными сводами поднимаются на командный пункт, на солнечную сухую площадку. Голосят телефоны и радики, натужно кричат офицеры. Туманный город в желтой горчичной пыли словно жарится на большой сковородке. Кажется, что начинается смерч, трудно дышать. В тумане и гари движутся танки, скрежещут боевые машины, начинает стрелять артиллерия. Над плоскими крышами, над круглыми куполами мазаров поднимаются медлительные рыхлые великаны. Их косматые гривы и бороды, сквозь которые пролетает бледный пунктир. Гулкие удары подрывов. Где-то в кварталах плавится и брызжет броня. Мерцают в дувалах бойницы. Из горчичного дыма в бинокль видны минареты, похожие на изогнутых темных червей. Зеленое свечение мечети. В синеве, над крепостью, стрекозиная тень вертолета. На огневые точки душманов пикирует боевой вертолет. Замирает в воздухе, выпуская косматое косое копье, и вслед ему – скрежещущий звук, удар по садам, по дувалам и лавкам. Секунда тишины, мелкий каракуль разрывов, и потом из этих дымов, из всех щелей, подворотен выбегает толпа. Визг, стенанье, истошный вой. Женщины прижимают грудных детей. Старики с костылями и палками. Пестрая горсть ребятишек. Пробежали и канули. Дым над садами клубится. У него в плече – крохотный колючий осколок. Острый кристалл металла впился, выдавил алую кровь.

Он рассказал ей про крепость в Герате, как спустился с башни во двор и в сухой земле, ковырнув ее штык-ножом, нашел несколько цветных черепков. Остатки фарфоровой вазы с мусульманским узором и вязью.

– Хотелось бы там побывать, – сказала она мечтательно, и глаза ее потемнели, утратили зелень, стали густо-синими, почти черными. Он заметил странное свойство ее глаз – мгновенно менять свой цвет. Как вода отражает небо, пасмурное или солнечное, черно-лиловую тучу или зеленый нависший берег, так менялись ее глаза. – Или в Латинской Америке, на карнавале, среди женщин, похожих на райских птиц! Вы бывали в Латинской Америке?

Сан-Педро-дель-Норте, городок на гондурасской границе. Прокаленная солнцем, сухая колокольня над церковью, где дощатые гладкие лавки, пластмассовые, полые, поясные изображения святых. Засиженный голубями колокол, под которым стоял пулемет, смотрел вороненым раструбом на близкую зеленую гору, на ручей, где желтели цветы. Гондурасская пехота переходила границу, рвались на улице мины, мчалась раненая, с выбитым глазом лошадь, и отряд сандинистов занимал оборону. Долговязый Ларгоэспаде скакал на длинных ногах, пропускал под собой на дороге пыльные фонтанчики пуль. Командир сандинистов Кортес, обмотанный пулеметными лентами, бежал по окопу, взмахом звал за собою. Гранатометчик Эрнесто целил остроконечной трубой, выдувал из нее прозрачный огненный шар, из которого летела граната, взрывалась в желтых цветах. И потом, когда отбили атаку, волокли на веревке тело убитого гондурасца. Все, кто стоял вдоль улицы, стреляли в мертвое тело. Выбивали выстрелами красную сочную плоть. Женщины кидали в него золу. Раненый Ларгоэспаде расстегнул штаны и мочился на мертвого солнечной бурной струей, на лицо, на густые усы, в раскрытые, под черными бровями, глаза.

Он не рассказал ей об этом, а поведал о Рио-де-Жанейро, о прохладном солнечном пляже Капакабане с белыми судами на рейде, о харчевнях, где в каменном очаге на огромных полях жарился тучный бык. Служители в нарядах тореро, с шампурами, длинными, как блестящие шпаги, вносили горячее мясо, ударяли шпагой в белый фарфор тарелки, и у самых глаз шипело, благоухало проколотое бычье сердце. Он рассказал ей о ночном кабаре, где женщины с хвостами павлинов, трясая над головами хохолками из драгоценных бриллиантов, танцевали самбу и огромный неф, похожий на баклажан, открывал алый зев, хохотал, высовывал красный влажный язык.

Она жадно внимала. Глаза ее были перламутровые, словно отражали разводы павлиньих перьев, немеркнувшее ночное солнце варьете.

– Вы прекрасный рассказчик, – сказала она.

– Шахерзада, – усмехнулся он.

– Расскажите еще.

Белые, бескрайние пляжи Мозамбика с пенным рулоном прибой. Сине-зеленый океанский рассол, среди которого плещет, качается размытое солнце. Идешь босиком, погружая ноги в кварцевый сыпучий песок, кидаешься накалившимся телом в прохладную глубь океана, слыша шорох донной волны, видя зеленый шатер лучей, пробивающий толщу воды, серебряные, излетающие из твоих волос пузыри. Он жил на берегу, в пустынном отеле «Дон Карлош», где тусклые зеркала, черные официанты и редкие военные, заезжавшие выпить холодного пива. Он ждал, когда за ним приедут и он примет участие в уничтожении аэродрома подскока, куда приземлялись маленькие самолетики, доставлявшие из ЮАР диверсантов. Он лежал в огромном номере под балдахинном с королевской колонной. За окном вращался маяк, монотонно пробегал лучом по стенам номера, по его голым ногам, по графину с водой, словно прожектор вычерпывал изображение его лица, на длинной бестелесной руке уносил в океан, выливал в туманные воды. Он лежал без движения, жизнь казалась абсурдом, и он беспричинно плакал, видя, как загорается зеркало от бесплотных лучей маяка. Они сделали засаду у аэродрома, заминировав земляную полосу. Самолетик, жужжа винтом, бежал по земле, наткнулся

на пыльный взрыв, заваливался, и из него начинали хлестать огненные липкие капли. Солдаты бежали к машине, лицо у пилота было исковеркано взрывом, булькал открытый рот, и в красной слюне, на груди, висели выбитые зубы.

Он ей не сказал о пилоте, о взрыве, а только о маяке, океане. И о буре, когда в соснах ровно свистело, у берега гуляла волна и черный мальчишка, закинув удочку в водяные горы и ямы, вырвал из океана детеныша акулы и бил его о край жестяного ведра.

– Как жаль, что я не была с вами в путешествиях, – сказала она. – Я бы тоже все это видела. У нас были бы общие воспоминания.

– Я вынес из путешествий горький опыт, – ответил он. – Я как старый железный напильник в серой металлической пыли. Не нужен вам такой опыт.

– Ну какой же вы напильник! Вы милый, веселый, добрый человек! – засмеялась она, отодвигая пустую тарелку. – Могу я вам предложить еще одно путешествие?

– Вы мой поводырь.

– Тогда вставайте. Пойдем в Парк культуры!

Это было невероятно – намаевшись за день, теперь, под вечер, идти вместе с ней в Парк культуры.

«По-моему, я впадаю в детство, и некому мне об этом сказать», – подумал он, но не с досадой, а с какой-то веселой обреченностью, вверяя себя ее воле. Расплатился и, когда уходили, заметил, как с любопытством смотрит на них бармен.

В жарких сумерках, среди бархатного шелеста и металлического ветра автомобилей, стоя перед высоким порталом парка, на котором еще сохранилась сталинская античная надпись, Белосельцев испытал томительное, похожее на сладкий страх чувство. словно ему предстояло покинуть этот знакомый, наполненный пешеходами и автомобилями город, с его сверхплотной очевидной реальностью, мучительным бытием, где обступали его беспощадные, не имевшие ответов вопросы и где он, проигравший сражения воин, был в позорном плену, среди поверженных святынь и кумиров. Перед каменными бутафорско-римскими воротами стояла маленькая нарядная карусель, усыпанная огоньками, с лакированными лошадками, рыбками, похожая на цветной леденец, если смотреть сквозь него на свет. Эта озаренная каруселька, напоминавшая языческую часовенку с идолами нестрашной и веселой религии, предвещала вступление в иной мир, иной город. Она, его поводырь, была из этого города. Привела его к воротам сказочного царства, где его ждали, радовались ему, готовы были принять, обласкать.

– Идемте! – побуждала его Даша. – вспомните детство, Виктор Андреевич!.. Ведь у вас было детство?

И он, помолвившись незаметно красным лошадкам, зеленым рыбкам и голубым попугаям, шагнул сквозь ворота за ее косами, бантами, легкой фиолетовой блузкой, словно прошел сквозь прозрачную стену.

По другую сторону этой стены была иная земля, иное небо, иные обитатели. Сразу же им встретилась женщина, продававшая мячики. Мячик прыгал на резинке, напоминавшей огненную паутинку. В нем раскручивалась крохотная, сверкающая спираль, словно взлетало ночное мерцающее существо. Слышался слабый треск перламутровых перепонок, в воздухе от его полета оставался искристый гаснущий след. Сама продавщица была облачена в необычный наряд, сотканный из сухих волокон и трав. На голове у нее качались гибкие рожки с горящими шариками. Она пританцовывала, подпрыгивала, играла своими скачущими светлячками, сама напоминала ночное диво, бабочку или кузнечика, живущего в траве, издающего стрекочущие звуки.

Даша подошла к ней, они о чем-то пошептались. Белосельцев понял, что они знакомы, принадлежат к одному племени, обитают в этом сказочном царстве. Даша, посланная за ним, Белосельцевым, выполнила поручение, привела его в царство, сообщила об этом привратнице,

и весть о его появлении полетела в сумерках, стала передаваться мигающими огоньками, веселой музыкой, летающими полупрозрачными тенями.

– Вы не жалеете, что согласились? – Она заглядывала ему в лицо, желая убедиться, что ему хорошо, интересно. – Я бываю здесь, когда мне грустно.

Ему было хорошо. Впереди огромно, до неба, взлетал фонтан. Бил из плоского, большого, как озеро, водоема, окрашенного цветными подводными лампами. Взмывал высоко в темно-синее вечернее небо, мелькал прозрачным разноцветным пером, осыпался прохладной росой. Белосельцев прошел сквозь водяную кисею, орошенный небесной водой, которая преображала его, смывала с лица морщины, темные подглазья, следы ожогов и ран, крохотные рубцы и метины, оставленные острыми песчинками Калахари, колючими семенами Гиндукуша, ядовитой пылью Кордильер. Лицо его молодело, разглаживалось, окропленное мельчайшим бисером музыкального цветного фонтана.

– Посмотрите, можно брать эту воду и рисовать картины! – Она окунала руки в фонтан над подводными лампами, там, где вода была окрашена в красное, золотое, зеленое. Выплескивала вверх разноцветные брызги. И казалось, из ее рук излетают цветные хрустальные сосуды, алые кувшины, зелено-золотые вазы, и руки ее – в перламутровых отсветах.

Кругом сновали торговцы. Продавали воздушные шары с нарисованными цветами и бабочками. Мороженое в вафельных рожках, серебряных фунтиках, на деревянных палочках. Торговец вращал перед собой прозрачный, наполненный светом короб, был похож на шарманщика. Просовывал внутрь волшебного музыкального ящика деревянную спицу, на которую наматывался пук сладкой стеклянистой ваты. Вынимал этот пук размером с маленькую сенную копешку. От него пахло вкусным жженым сахаром, ванилью, и покупатель погружал лицо в этот воздушный невесомый ворох, шел, похожий на двуногое травоядное существо, опьяненное вкусом неведомых злаков.

Они купили две порции сахарной ваты, шли, выхватывая клочья тающей сладости. Ели, радостно поглядывая друг на друга.

– Это сладкий воздух, – сказала она. – Они ловят сладкие облака, а потом продают по дешевой цене.

И впрямь темный, жаркий, коричневый воздух казался сладким, как и все, что существовало в этом смуглом горячем воздухе. Деревья были увешаны огненными гирляндами, в их черной кроне висели бесчисленные бриллиантовые вишенки, которые хотелось сорвать, положить за щеку и шагать, держа во рту бриллиантовый огонек. Повсюду стояли лавочки, лотки, освещенные навесы, под которыми торговали водой, фруктовым соком, разноцветными напитками – не люди, а какие-то забавные зверьки, похожие на зайцев, белок, ежей. Они купили две бутылки с минеральной водой, запивали прохладными, шипящими во рту глотками сахарную вату.

– Вы не жалеете, что пришли? – в который раз переспрашивала она.

Он не жалел. Он сделал удивительное открытие. Иная жизнь, к которой он стремился и куда хотел проникнуть сквозь тончайшие скважины бытия, выискивая их на бескрайних ландшафтах воюющих континентов, среди стреляющих гор, горящих саванн и джунглей, эта иная жизнь была рядом, в его городе, у его порога, сразу за каменным входом в парк, за крохотной языческой молельней. Стоило решиться, не испугаться своего исчезнувшего детства, не испугаться этой молодой, явившейся за ним посланницы, довериться ей, шагнуть за ее бантами и прозрачной фиолетовой блузкой, и иная жизнь, состоящая из разноцветных корпускул, сладкого воздуха, веселой музыки бесчисленных балаганчиков, принимала его в себя, как маленькая нарядная планета, населенная веселыми и смешными инопланетянами. Не было смерти, а была эта невесомая вечная жизнь. Не было ни рая, ни ада, а был этот парк, усаженный черными, с теплой листвой, деревьями, где каждый сучок и ветка увиты гирляндами алмазных огоньков, словно прошел дождь и теперь на листьях висели немеркнущие огненные капли.

Оказывается, были неверными все богословские трактаты, все священные книги, сулившие вечное блаженство за праведно прожитые годы или вечную муку за совершенные прегрешения. И грех и праведность, о которых вещали священные тексты, были одинаково непосильны для души. Блаженство и мука, которые они сулили ему, были страшным бременем. Вместо ада и рая, преисподней или седьмого неба, был вокруг сладкий душистый воздух, действующий на него как веселящий газ, от которого хотелось улыбаться, смеяться, смотреть на лепные, из папье-маше, маски каких-то добрых великанов, нестрашных чудовищ, фантастических цветов и растений. И это она, Даша, привела его на эту нарядную планету, вела по цветным озерам, бриллиантовым рошам, музыкальным горам и долинам.

Ему вдруг показалось, что он уже это видел однажды. То ли читал, то ли видел во сне. Чей-то женский забытый голос рассказывал ему о цветных городах, где нет людей, а лишь великолепные, озаренные храмы, дворцы и по чистым безлюдным улицам, у фонтанов и фонарей, летают ночные нарядные бабочки.

– Давайте покатаемся на аттракционах, – сказала она. – Вы не боитесь?

Он не боялся. Он знал, что это было очередное, необходимое испытание, неопасные подвиги, которые должен он совершить, прежде чем будет принят навсегда в эту страну, станет ее постоянным обитателем.

У аттракциона, именуемого «Водопад», они купили билеты и вслед веселящейся молодежи прошли к искусственным, из металлических конструкций и пластмассового гранита, горам, по которым сбегали водяные ручьи. Уселись в длинную, похожую на каноэ лодку, и невидимый мотор повлек их вверх, по бурлящей черно-блестящей воде, ударявшей в деревянные струганные борта. Даша оглянулась с переднего сиденья, словно желала убедиться, что он не сетует на нее, что ему хорошо, он добровольно принял эту игру. Он не сетовал, он принял игру добровольно, как добровольно ложится под рентгеновский аппарат пациент, позволяя умному и внимательному врачу рассмотреть свои невидимые органы, обнаружить в них потаенные мучительные недуги.

Эти рукотворные водяные ручьи, неопасно бурлящие перекааты, рокоты невидимых механизмов, подымавших каноэ по крутым волнообразным склонам, были таинственным, сконструированным у Москвы-реки прибором, в который его поместили. Высветили на ночном экране синего московского неба его путешествия, военные странствия, его страхи и прегрешения. Лица убитых врагов и тела погибших товарищей, пылающие мечети, из которых излетали огненные страницы Корана, удары вертолетов по белесым кишлакам, и цветущее гранатовое дерево, а под ним – убитый мулла в окровавленной белой чалме, по коричневому тощему телу в муке катились желваки и сгустки страдания от пробежавшей волны электричества. Ночная офицерская пьянка, когда при свете коптилок пили вонючий спирт, хрипло пели и плакали, а в море, в липкой пыли, лежал ротный, голый, серый от мучнистого праха, пронзенный насквозь длинным стальным сердечником, сонные мухи, тяжелые от трупного сока, застыли у черных ран. И та зимняя кандагарская луна, окруженная туманными кольцами, под которой дремали батареи самоходных гаубиц, блестел на земле осколок бутылки, как холодная, упавшая с неба слеза. И потом, в Кабуле, пулеметы били по бегущей толпе, и старик-хазарец в грязной повязке прижимал к груди похожего на личинку младенца.

Каноэ взбиралось наверх и с плеском рушилось вниз, окутанное брызгами, радужным вихрем, женским счастливым визгом, яростным свистом парней. Каждое падение вниз смывало с его души угрюмые впечатления жизни, зрелища бед и страданий. Так острый, пахнущий скипидаром растворитель смывает с холста неумелый рисунок, тусклый, уродливый подмалевок, нанесенный рукой подмастерья, открывает чистую, влажную ткань, жаждущую свежего живого мазка, прикосновения мастера.

– Вам не страшно? – обернулась Даша, когда лодка упала отвесно, раздавив плоским дном прозрачную подушку воды, превратила ее в плоское, разлетающееся сверкание. – Я вся промокла!

Глаза ее счастливо блестели, на лице были брызги. Он секунду любовался ее хохочущим лицом. Лодку подцепили невидимые крюки, повлекли по кипящему порогу, среди острых камней, и, пока она упруго двигалась вверх, на синем экране неба возникали боевые колонны, идущие в степь под Гератом, и тот гончарный рыжий кишлак, где пленные стояли у гончарной стены в длинных белых одеждах, отбрасывая длинные тени, а потом, расстрелянные, лежали все в одну сторону, и их верблюды, гремя колокольцами, брели сквозь дымящий кишлак. И убитая осколком корова, лежащая в мелкой воде, – сквозь бегущие струи смотрел ее немигающий синий глаз. Висящий в петле Наджибулла, изувеченный, в малиновых ранах, его слипшиеся, как в варенье, черные усы. Лазарет под Баграмом, запах парного мяса, солдат несет по жаре цинковое ведро, из которого торчит отрезанная нога с желтыми грязными ногтями. Все это отслаивалось, выступало на экране, становилось доступным внимательному целителю, взиравшему из небес. Лодка достигла вершины, перевалила сверкающий гребень и отвесно, как камень в свободном падении, рухнула в пустоту. Долетела до глубокого, наполненного светом дна, упруго ударилась, расшвыривая с плеском сверкающую воду, и они, пропущенные сквозь брызги, яростную музыку, холодное аметистовое пламя, выскользнули по дуге. Причалили к берегу.

– Господи, как страшно! – Она первая выпрыгнула из лодки, протягивая ему руку. Он встал, весь мокрый, в прилипшей рубашке. Знал, что часть его угрюмых кошмаров, его мучительных грешных видений была смыта чистой водой. Засвечена аметистовой вспышкой. И он, освобожденный от бремени, больше никогда не обернется назад, в раскаленную афганскую степь.

– Мне так хорошо! – сказала она, приподнимая край своей мокрой полотняной юбки. – Неужели вам не было страшно? Вы столько путешествовали, столько всего повидали. Но теперь и я побывала на Ниагарском водопаде! – Они удалялись от водяного, мигающего огнями каскада, приближались к мелькающей в лазерных лучах карусели. – Неужели мы пропустим возможность полетать на этих чудесных дирижаблях и ракетках?

Они встали в очередь в кассу. Юноша и девушка, стоящие перед ними, целовались. Двое бритых белобрых парней, похожих на вылупившихся птенцов, пили кока-колу. Кругом, вплетенные в деревья, мерцали крохотные лампочки, как вереницы светляков. В лучах прожектора, глянцевитые, лаковые, насаженные на длинные стальные спицы, ждали седоков кони, верблюды, смешные горбатые динозавры, двухместные спортивные шевроле, серебряные дирижабли, похожие на початки золотой кукурузы космические ракеты. Играла музыка, и под эту негромкую музыку они вошли на площадку, разместились рядом на сиденье звездолета.

– Покатили! – восхищенно сказала она, когда завращалась хромированная ось каруселей и весь зверинец нарядных лакированных животных, весь автопарк брызгающих светом автомобилей, вся эскадрилья самолетов, дирижаблей и космических кораблей полетели среди стеклянных огней, черных деревьев, нарядных, как переводные картинки, лотков, лавочек, балаганов, из которых высовывали свои добродушные мохнатые мордочки то ли белки, то ли ушастые зайцы.

Карусель тоже была целебным прибором, в который поместили его отягощенную недугами душу, и каждая вспышка света, каждый звенящий удар музыки испепеляли и сжигали угрюмые картины его военного прошлого, оставляя от них цветной легкий пепел, осыпавшийся невесомо на кровлю балаганчиков.

Та горячая красная дорога в ангольских джунглях, по которой катил их джип. Горло першило от ядовитой пыли, ломило в затылке. Сзади тряслась спаренная зенитная установка, защищавшая их от атаки «канберр» и «импал». И комбриг-португалец, видя, как он страдает,

протянул для глотка бутылку рыжего джина. Та поляна, на которой дымились трава, бежали колючие огненные язычки, невидимый, свистел вертолет. Командос пятнистой цепочкой, как ящерицы, мелькали в кустах, им вслед долбил пулемет. Все сошлись к убитому буру – длинное тело, черное, в краске, лицо. Командир отряда Питер Наниемба плюнул на палец, провел по черной щеке убитого, оставил белый прерывистый след. Серпантин под Лубанго, где случилась засада, перевернутый горящий автобус, вспоротый бок бэтээра. Он вдыхал зловоние обгорелого мяса, и вокруг были синие горы, розовая даль пустыни, и, сливаясь с небом, нежный, недвижимый, зеленел океан. Три дня он провел в плену у повстанцев, в глиняной яме, куда сверху, спасаясь от жара, сваливались тяжелые липкие жабы, огромные мохнатые пауки. Ночью, глядя на белые звезды, густо горевшие в круглой черной дыре, он чувствовал, как по лицу и рукам пробегают легкие волосатые твари.

Он кружился на карусели, принимая губами удары теплого душистого ветра. Его прелестная молодая соседка шурилась на пролетающий фонарь. Он чувствовал, как пучок разноцветных лучей касался его груди и сжигал в ней образ горящих джунглей, горбатый стальной транспортер, а музыка, излетающая из динамика, яркая, как ворох цветов, заглушала ночные стоны раненого слона, умиравшего от пулеметных пуль среди ночного пожара. И когда карусель раскрутила своих коней и верблюдов, разогнала автомобили и дирижабли, стальная ось наклонилась, спица, на которую был насажен их звездолет, удлинилась, и это изменение скорости, угла полета, плоскости скольжения вызвало замирание сердца, мгновение сладкого ужаса, и в этом мгновении испепелился его африканский поход, забылись навсегда имена военных советников, пропало, чтобы больше никогда не возникнуть, глянцевитое лицо Сэма Нуемы, его черно-седая кольчатая борода и огромное осеннее дерево с желтой листвой, под которым он сидел, слушая стуки тамтамов.

Карусель замирала, наездники покидали седла, оставляли сиденья и кресла машин. Она всматривалась в его лицо:

– Вам стало нехорошо? Очень быстро кружились?

– Нет, – ответил он. – Счастливая потеря памяти. Избавление от ненужного опыта.

Он устал, голова у него кружилась. Но это кружение было результатом слишком скорого исцеления. Яды покидали его, и очищенная кровь непривычно звенела. Память очищалась от бредов, возникала счастливая пустота, восхитительное забвение, после которого можно было начинать жить сначала. Обретать новый опыт, не связанный с бедой и несчастьем, а только с этими лакированными смешными конями, фиолетовыми пучками лучей, с двумя смеющимися парнями, пьющими из бутылок, с этой едва знакомой, бог знает откуда появившейся девушкой, поправляющей белый развязавшийся бант.

– Давайте еще покатаемся!

Они вернулись на набережную, пробираясь сквозь черные, усыпанные белыми алмазами деревья. У самой воды, над гранитным откосом, стояли качели. Огромная, на металлических креплениях, ладья с деревянным кормчим, раскрашенным пластмассовым рулевым, с намалеванными на фанерных щитах видами Бомбея, Парижа, Нью-Йорка. Золоченый ковчег, на который они взошли, разместились на лавках среди публики, желающей взмыть на качелях.

– Какая река! Какая церковь напротив! – Он проследил ее взгляд и увидел на черной, с бегущими отражениями воде малую плывущую уточку, а на той стороне, в прогалах домов, – драгоценную озаренную церковь в Хамовниках. Отсюда она казалась живой, женственной, в свадебном облачении, состоящем из языческих лент, жемчужных узоров, золоченой венчальной короны. – Она видит нас, она нам счастья желает!

Ладья колыхнулась, мягко пошла. Церковь канула вниз, словно поклонилась им издали в пояс. Он почувствовал, как теряет вес, и эта потеря веса, утрата горького опыта, была счастливым освобождением от прежней жизни, омоложением, словно запущенные вместе с ладьей часы стали отсчитывать время вспять, делая его снова наивным, верящим, ожидающим от

жизни чуда. Ладья качнулась в обратную сторону, церковь приподнялась на цыпочки в своем белом домотканом облачении, в красных бусах, шелковых узорах, словно желала заглянуть в ладью, рассмотреть их, сидящих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.